



ГОЛОСА УЛЕТЕВШИХ ЖУРАВЛЕЙ

Гвардии рядовому

Дорогой товарищ! Великая Отечественная война победоносно завершена. Красная Армия в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками отстояла честь, свободу и независимость нашей Родины, обеспечила миллионам людей возможность от фронтовой жизни снова вернуться к мирному созидательному труду. Вы возвращаетесь на Родину с ПОБЕДОЙ.

В суровые годы войны Вы честно выполнили свой патриотический долг — достойно несли службу в доблестных войсках Первого Украинского фронта, заслуживших своими ратными подвигами всеобщую любовь нашего народа.

На знаменах боевой славы войск Первого Украинского фронта записаны выдающиеся исторические победы. Могучими ударами они разгромили врага в районе среднего течения ДОНА, нанесли гитлеровцам беспрецедентное поражение в районе Курской дуги, героически форсировали реку ДНЕПР и освободили от фашистских оккупантов древний русский город — столицу Советской Украины — КИЕВ.

Стремительно наступая, окружая и уничтожая крупные группировки врага на Правобережной Украине, освободили города — ЖИТОМИР, РОВНО, ПРОСКУРОВ, ВИННИЦУ, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, КОВЕЛЬ, ТАРНОПОЛЬ, ЧЕРНОВИЦЫ, СТАНИСЛАВ, ДРОГОВИЧ и ЛЬВОВ.

С жестокими боями прошли южную ПОЛЬШУ, форсировали реки САН и ВИСЛУ, освободили вторую польскую столицу — город КРАКОВ и важнейший промышленный район — ВЕРХНЮЮ СИЛЕЗИЮ.

Ворвались на территорию ГЕРМАНИИ — логово фашистского зверя, форсировали реки ОДЕР, НЕЙССЕ, ШПРЕЕ и, выйдя на реку ЭЛЬБА, в центре ГЕРМАНИИ соединились с войсками наших союзников.

Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского фронта наголову разбили берлинскую группировку немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя ПОБЕДЫ.

Сокрушительными ударами, уничтожая остатки вражеских войск, заняли город ДРЕЗДЕН и, завершая окончательный разгром фашистской ГЕРМАНИИ, освободили столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ — город ПРАГУ.

Семьдесят четыре благодарности объявил в своих приказах Верховный Главнокомандующий — Великий СТАЛИН войскам 1-го Украинского фронта за отличные боевые действия.

Выражаю уверенность, что безграничная любовь к Советской Отчизне, вдохновлявшая Вас в дни Великой Отечественной войны, будет неиссякаемым источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда.

Сердечное спасибо за отличную службу в войсках фронта, желаю здоровья и успехов на фронте мирного социалистического труда на благо и счастье нашей Родины, во имя торжества великих идей ЛЕНИНА — СТАЛИНА.

Командующий войсками
Первого Украинского фронта
Маршал Советского Союза
(И. КОНЕВ)



Член Военного Совета
фронта генерал-лейтенант
(К. КРАЙНЮКОВ)

К. Крайнюков

Начальник штаба фронта
генерал армии (Ив. ПЕТРОВ)

Ив. Петров

Июль 1945 года.



Ковалев Алексей

Голоса улетеvших журавлей

«Автор»

2025

Алексей К. Н.

Голоса улетевших журавлей / К. Н. Алексей — «Автор», 2025

Автор писал книги не для публикации, а потомкам, ведь судя по датам написания его отношение к действиям военного и политического руководства было для господствующей идеологии крамольным. Он осуждал прикрытие безграмотности военного командования политическими лозунгами и репрессии ко всем несогласным. Воспоминания Химича имеют не только историческую ценность, но и литературную. Их читаешь, как увлекательную книгу – с одной стороны хочется быстрее прочесть, чтобы узнать, что будет с героем, а с другой – постоянно ждёшь продолжения. Обидно, что не все его воспоминания сохранились, но то, что осталось, должно быть опубликовано: эти воспоминания актуальны и сейчас. Марк Некрасовский, Председатель Луганского Республиканского отделения Союза писателей России имени Владимира Даля.

© Алексей К. Н., 2025

© Автор, 2025

Ковалев Алексей

Голоса улетевших журавлей

ИЗ ОЧЕРКОВ НАШИХ ДНЕЙ

Я родился в Свердловске Луганской области в 1997 году, там же окончил местный лицей. В 2020 году – Донецкое высшее командно-войсковое училище.

Мое решение нести службу в стенах училища было принято еще в детстве: очень нравились фильмы и новостные ролики с военными и спецслужбами. Первое время, осознав, что обучение дается мне не так легко, как хотелось бы, я ежедневно находил десять тысяч причин бросить. Родители говорили – уходи, сынок, только реши для себя, чем ты будешь заниматься в будущем.

Время шло, и я понимал, что ничего другого мне и не нужно, военное дело это мое. Тем более, что позже оказалось – учеба в училище очень даже интересной. Все наши преподаватели были офицерами Советской армии – грамотные, начитанные, – мы всегда брали с них пример. Мы часто бегали в самоволки, тогда как командир роты все норовил нас поймать. Но, как говорили мы в годы учебы, – кто не рискует, тот в училище одну перловку ест.

В военную комендатуру Луганска еще с тремя однокашниками я был распределен, уже получив звание лейтенанта.

Через год я был переведен во вторую бригаду Народной милиции Луганской Народной Республики (сейчас – 123-я бригада, в/ч 40463 Вооруженных Сил Российской Федерации).

Во время первой зачистки мы с товарищами вскрыли окно и шли внутри здания, я споткнулся, а палец в это время был на спусковом крючке, автомат был снят с предохранителя и так раздался выстрел. Пуля прошла вдоль моего колена, порвала штаны и нательное белье, но не задела при этом ногу. Эту историю я раньше никому не рассказывал. В память об этом случае дома я храню те самые штаны и нательное белье.

До моей первой госпитализации, я неоднократно был контужен: в ушах звенело, бывало такое, что заплетался язык. Но у меня были ребята в подчинении и я просто не мог их бросить, до последнего был с ними. Буквально за две недели до серьезной первой контузии и ранения, я лично своего последнего подчиненного из пулеметного взвода, группы, вышедшей 24 февраля, отвез в госпиталь. К сожалению, в госпитале у него остановилось сердце.

После первого ранения долго лечился и восстанавливался, после второго – поставили диагноз «компрессионный перелом трех позвонков. Больше восьми месяцев нельзя было сидеть, только ходить или лежать. Ходил в корсете, обкалывали позвоночник. Спасибо большое Ковалеву Алексею Николаевичу, который буквально поставил меня на ноги.

Будучи у него на лечении, я познакомился с проектом книги, основанной на воспоминаниях Химича. Прочитал её на одном дыхании, невольно сравнивая эпизоды, описанные в книге, со своими боевыми буднями. Защищая страну и мирное население в качестве офицера российской армии, я понимаю, как важны подлинные воспоминания о той прошедшей войне. Я считаю, что они должны быть опубликованы и должны быть доступны для нашего поколения. Эта книга только укрепила в моём сердце чувство гордости за нашу страну и наших людей.

Бабушка моя была ребенком ВОВ, а дедушек я совсем не знаю. Так сложилось, что теперь я сам стал участником активных боевых действий. Был награждён медалью ЛНР за участие в боевых действиях. Также награждён государственной медалью Суворова, подписанной указом президента от 24.08.2024 года.

Скребцов Вячеслав Вячеславович

Рабочий день личного состава 78 батареи 9 июня 1937 года начался по распоряжку. В отличие от прошлых дней поведение военнослужащих было необычным: краснофлотцы вели себя настороженно, между собою разговаривали тихо, команды и приказания исполняли быстро и виновато.

С тех пор, как их командира увели из Северного укрепления, и он навсегда ушёл из казармы, прошло свыше часа. Времени оказалось достаточно, чтобы все узнали о его аресте, поведении арестованного и тех, кто арестовывал. И если тайком спрашивали друг у друга, то только о том, за что арестовали. Естественно, подавляющая масса военнослужащих верила так же, как и сам Химич, когда услышал о первых арестах. «Раз арестовали, значит, что-то было. Ни за что, ни про что не арестуют».

В восемь утра на батарею пожаловал политрук 2 батареи Велигура. Он получил инструктаж от комиссара третьего дивизиона КУРа провести политинформацию на 78 батарее. Разъяснить личному составу батареи справедливость ареста их командира, мобилизовать внимание рядовых и командира на повышение бдительности.

На политическую информацию команда собралась полностью. Пришли все: строевые и хозяйственники. Краснофлотцы с затаённым дыханием жаждали услышать правду.

Велигура был высокого роста, сутуловат не от рождения, видимо, в детстве приходилось много носить тяжестей. С надменным взглядом он нарочито медленно уже который раз оглядывал лица присутствовавших. Наконец, он поднял глаза, повернулся и посмотрел на сидевшего старшего политрука Малюка и громким голосом начал речь.

– Товарищи! Партия нас учит быть бдительными! В стране врагов становится меньше, но их сопротивление, их козни нашему благородному делу возрастают. Классовая борьба обостряется, превращается в настоящую войну против нас. Враги объявили битву не на жизнь, а на смерть – это должен каждый из вас понять и не забывать! Но прошу вас работать спокойно. Партия в лице своих испытанных органов НКВД раздавит смердящую мразь. Мы сильны. Мы уверены в победе, потому что согреты ласковыми лучами сталинского гения. Под мудрым руководством нашего друга, нашего вождя, нашего учителя и нашего отца Иосифа Виссарионовича Сталина никакая нечисть не остановит нашего движения вперёд. Мы сломаем все преграды, поставленные врагами народа на нашем пути. Сталинской рукой уберём всех троцкистов и бухаринцев, правых и левых оппортунистов во имя строительства коммунизма, во имя счастливой жизни нашего народа, – сделав короткую паузу и снова сверля каждого своими колючими глазами, политрук Велигура продолжал. – Горько и печально констатировать, но от правды не уйти...

Неожиданно он понизил голос, как поступают на траурных митингах, склонил на бок голову, ещё раз посмотрел на большинство краснофлотцев, о чём-то шёпотом поговорил с политруком Малюком, энергично выправился и, повышая голос, точно перед многотысячной толпой, начал кричать:

– Проглядели мы врага! Более того – вы пригрили на своей груди злейшего врага народа, который, пользуясь вашей близорукостью, творил за вашей спиной свои чёрные дела. Знали ли вы Химича? Нет! А нужно было знать! Он кулацкий сын, он подонок нашего общества, он заставил вас строить провололочные заборы, на которых поранились люди, он подбирал специальные снаряды, которые не лезли в камору пушек! Так пусть же это будет последним случаем вашего и нашего ротозейства.

Аплодисментов не было. Краснофлотцы начали тревожно переглядываться, многие сконфузились, опустили головы. У одних лица побледнели, у других – налились кровью.

Старший политрук Малюк почувствовал возникшее недоумение, замешательство в среде сидевших. Он понимал – примеры, приведённые Велигурой, были неудачными. Они вызвали

у большинства непонимание происходящего. Малюк, не сказав ни слова, торопливо объявил политинформацию оконченной.

Оба политрука вышли из казармы и, переговариваясь шёпотом, направились в столовую.

Когда командир взвода Поляков привёл батарею на позицию, нашлись смелые и спросили: «Как же понимать, – недоумевали они и робко спрашивали, – командиры-посредники признали построенную оборону грамотной и правильной, что оборонялись мы хорошо, за что все получили благодарности, а политрук сегодня по существу назвал нашу работу вредительской. Это что же выходит – что сегодня и нас следует арестовывать?»

Командир взвода тоже был дезориентирован. Но спустя несколько часов как он узнал, что большинство командиров из штаба КУРа были арестованы, в том числе и некоторые из тех, кто был посредниками на батарейном учении, счёл возможным присоединиться к политруку Велигуре и во всеуслышание заявить: «Мы напрасно выполняли приказания Химича. Он действовал как враг народа!»

В полдень на позицию пришёл Перов. Он не знал, что отвечал на вопросы подчинённых комвзвода Поляков. Он не слышал, что говорил Велигура. Но когда ему рассказали старшины, что они слышали на политинформации, командир дивизиона заколебался и ответил так, как отвечают люди умные и хитрые – он и овец сохранил, и сумму денег в свой актив положил. Что ж, вероятно, иначе нельзя было.

Квартира политрука Велигуры была на Северной стороне, в одном флигеле с квартирой бывшего политрука 78 батареи Василия Фёдоровича Рогачёва. Велигура после благородного труда на 78 батарее возвращался домой в приподнятом настроении. О чём-то думал, не поднимая и не поворачивая головы. Вот он медленно подошёл к своему флигелю, поднялся по ступенькам на крыльцо, взялся за ручку двери... дверь оказалась открытой. Хозяин, вероятно, ступешался, опрашивая себя: «Это что же, жена ещё спит? Этакая оплошность непростительна», – рассуждал он в своём уме. Торопливо вошёл в прихожую. Справа и слева двери, на стульях, взятых из комнаты, сидели два незнакомых человека в малиновой форме. При виде посторонних людей в форме, наводящих на всех страх и ужас, Велигура оторопел. Не зная, что делать, он стоял, как изваяние. Непрошенные гости энергично встали и один из них членораздельно спросил:

– Вы – Велигура?

– Да, я-я... – робко ответил и в мгновение побледнел бывший политрук. А когда ему в нос ткнули узкую и длинную бумагу, он качнулся и стал терять вертикальность. Его поддержал второй гость и усадил на стул, на котором он сам только что сидел.

Во второй половине дня Велигуру доставили в НКВД на Пушкинскую улицу. Его препровождали теми же средствами и теми же путями, какими доставлялись все «враги народа». Вероятно, из-за особого уважения к Велигуре его в тюрьму не препровождали. Его оставили в казематах НКВД. И сделано это было неспроста. Он оценивался врагом более опасным, чем мелкие сошки, типа Химича.

Позавтракав в краснофлотской столовой, Малюк явился в штаб зенитного полка к Ткаченко. Комиссар полка сидел мрачно. Малюк в мгновение понял: прямой и непосредственный его начальник чем-то сильно встревожен. Он тихонько приветствовал своего руководителя и сел в стороне за тот стол, где он сидел уже третий месяц, выполняя задания комиссара.

Старший политрук Малюк с первых дней пребывания в полку был приглашен комиссаром Ткаченко себе в помощь. Ткаченко на Малюка, как человека с академическим образованием, возложил почётную обязанность. По записям аморальных поступков в делах командиров и политработников разделить их на преданных партии и товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину и врагов.

На военнослужащих, казавшихся Малюку особенно опасными, Ткаченко составлял характеристики с выводами об их несоответствии политико-моральным соображениям про-

должать воинскую службу на флоте, с немедленной передачей их органам НКВД. Эти дела со своим заключением Ткаченко отправлял начальнику политотдела КУРа Субботину. Он утверждал представления Ткаченко и своим письмом препровождал органами НКВД для ареста и придания суду.

Личные дела командиров и политработников с меньшими провинностями, не подлежащими передаче органам, но и признанных не могущими дальше продолжать службу, по тем же соображениям Малюк отбирал для предоставления на демобилизацию. Когда таких дел Малюк отобрал слишком много, а признанных преданными и в классовом отношении принадлежавших к рабочим и крестьянам беднякам оказалось слишком мало, у Ткаченко возник тревожный вопрос: «Как смогут такое небольшое количество командиров и политработников справиться с делами в подразделениях и частях полка?». И он предложил Малюку немедленно вторично пересмотреть дела ненадёжных. Эту работу Малюк и намеревался окончить 9 июня. Но видя подавленное настроение комиссара, он, не приступая к делу, виновато спросил:

– Товарищ комиссар, что-нибудь произошло неприятное и опасное?

– Кто у вас провёл политинформацию? – нервозно спросил Ткаченко.

– Велигура, – ответил политрук батареи и, не жалея красноречия, пояснил. – Информация прошла блестяще. Весь личный состав был мобилизован на бдительность и осознанно понял враждебную деятельность Химича на батарее.

– А вы знаете, что Велигура уже арестован?

– Велигура?! – переспросил с удивлением политрук. – Этого не могло быть. Не более часа как он ушёл из Северного укрепления. К тому же арестовывают ночью.

Малюк вскочил со стула, сделал шаг к комиссару, широко открыл глаза, но побледнел, точно ожидая, что в него сейчас станут стрелять.

– Представьте себе, по возвращению от вас его арестовали, – убеждал комиссар.

Малюк камнем опустился на соседний стул, нахохлился, как мокрая курица, и смотрел на Ткаченко выжидающе. Нет, он ничего не думал, ничего не хотел сказать. Он привык в такие минуты слушать решение других старших начальников. И Ткаченко его высказал:

– Товарищ старший политрук, идите, нет – бегите на батарею, примите все меры, чтобы личный состав не узнал об аресте Велигуры, хотя бы в течение двух-трёх дней. Одновременно подумайте, как лучше встретить нового командира батареи. Информировать его обо всех вопросах, по которым обвиняется Химич. Не исключено, что он станет главным свидетелем на суде бывшего командира батареи.

Вечером на батарею пришёл новый командир батареи лейтенант Сметон. Малюк весь день был в казарме. Встретил Сметона с расплывшейся во всё лицо улыбкой и распростёртыми объятиями. Вначале они прошли по казарме. Затем зашли в канцелярию. Первый вопрос последовал от Сметона.

– За что арестовали Химича? – ожидая ответа, он по хвастливой привычке сосал трубку, поднося к ней всё новые и новые зажженные спички. Смотрел он на Малюка в упор, вызывая своим нервным ожиданием ответа категоричного и окончательного, мгновенно убивающего бывшего командира батареи.

Малюк рассказал обо всём: и о том, чего он никогда не видел и не слышал, но о чём убеждённо говорил ему комиссар полка Ткаченко, и о том, что он мог вычитать в политическом деле Химича, неоднократно читая его и дополняя в нём записи от себя. Не дождавшись конца длинного повествования на первый вопрос, Сметон задал второй:

– Как думаете, Химич вернётся?

– Думаю, нет. А вообще от вас будет зависеть многое. Нужно помочь НКВД, – намекал Малюк, ожидая согласие от будущего коллеги.

Сметон ответил откровенно, определённо и недвусмысленно:

– Всё понял. Постараюсь. Так как это и в моих интересах.

– Конечно, – обрадовался старший политрук, поясняя, – батарея подготовлена великолепно, и работать вам будет легко.

Возвратившись в казарму, Сметон заинтересовался секретной перепиской.

– Я – командир батареи – прошу от сейфа ключи! – обратился к дежурному Гуржию Сметон.

– Мне командир батареи...

– Не командир батареи, а бывший командир батареи, – спокойно поправил дежурного Малюк.

– Мне бывший командир батареи, – поправился дежурный Гуржий, – передал ключи и печать для передачи комиссии, которая проверит переписку и передаст новому командиру и секретные дела, и ключ с печатью.

Все, слушавшие ответ старшины Гуржия, были удивлены его смелости и неслыханной храбрости. Один писарь Богданов, по образованию юрист, был несколько не удивлён. Он медленно подошёл к старшему политруку и к новому командиру батареи и тихонько заметил:

– Товарищ командир батареи, дежурный поступает правильно. Позвоните командиру дивизиона. Он назначит комиссию, переписка будет проверена и передана вам по акту.

Сметон мгновенно помрачнел. Брови его вытянулись в линию. Глаза его бегали недовольно и даже враждебно.

– Разве так командира батареи встречают? – громко спросил Сметон.

– Встреча командира – одно, а поступить правильно, по закону, совсем другое. – Точно на школьной скамье первокласснику разъяснял Богданов азы веками сложившегося права, к сожалению, которого не хотел знать Сметон.

– Кто вы такой? – строго спросил лейтенант Сметон стоявшего рядом краснофлотца Богданова.

– Писарь, товарищ лейтенант.

– Вам какое дело? – недовольно упрекал лейтенант.

– Очень прямое. Я юрист, – спокойно пояснял краснофлотец.

– Но здесь вы – писарь!

– Нет! И здесь я – и писарь, и юрист, и защитник советского права.

Новый командир батареи почувствовал справедливость не на своей стороне и вынужден был ретироваться. Для Сметона было полной неожиданностью и тон, на котором с ним говорили, и содержание вопросов, которые были подняты.

Химич в момент последнего ухода из казармы ничего никому не говорил. Ни о чём никого не просил. Он был настолько возбуждён, мысли его были настолько расстроены, что он вот так просто взял и отдал ключи и печать. Это была его ошибка. Ошибка и чрезмерной доверчивости, и трагического малодушия. Единственно, в чём он не ошибся, в честности своих подчинённых.

Когда на следующий день пришёл на батарею командир 77 батареи как председатель комиссии, а Сметон и Малюк стали членами комиссии и потребовали от командира отделения ключ с печатью, Гуржий потребовал:

– Пожалуйста, выписку из приказа, что вы действительно являетесь комиссией.

Ему дали. Он записал номер приказа, номер параграфа в приказе, дату подписания и кто подписал приказ, вежливо протянул руку с печатью и ключом председателю комиссии.

Потребовать расписку от председателя комиссии у Гуржия не нашлось смелости. Что ж, Гуржий был маленьким командиром. Он был обучен всем старшим беспрекословно подчиняться.

Как было обидно осознавать, что в те времена старшие признавали только права над младшими и забывали о своих обязанностях перед ними. Ведь председателю комиссии следовало в присутствии старшины Гуржия расписаться на выписке из приказа и вежливо подать

её подчинённому, поясняя: «Товарищ старшина дальномерного отделения, это ваше оправдание за переданные мне ключи и печать от сейфа». К сожалению, в те времена во всех сферах человеческой деятельности над людьми висел гнёт культа не только верховной личности, но и всех младших начальников. Чем меньше по значимости руководитель, тем труднее было ему. И совсем невыносимо чувствовали себя рядовые военные и гражданские труженики.

УЗНИКИ КАМЕРЫ № 17

Когда Химича втолкнули в камеру и за ним захлопнулась железная дверь, он был немало удивлен. В камере-одиночке уже стояло, сидело и лежало на нарах 11 человек. Камера имела такую же площадь, как и все камеры-одиночки всех тюрем, построенных царским самодержавием.

Небольшое окно выходило на северную сторону. Оно было высоко приподнято от пола, оковано толстой железной решёткой изнутри и снаружи прикрыто железным козырьком, чтобы закрыть от арестантов и местность, лежащую за окном, и кусочек голубого неба с рассеянным светом.

Сколько существовали тюрьмы, ни в одной тюрьме, ни в одной стране, ни в одну из социально-экономических эпох скромное проникновение света в камеру узника не прикрывалось дополнительными заслонами. Козырьки были из кровельного железа по распоряжению министра государственной безопасности Ежова, естественно с одобрения его прямого начальника.

Половина камеры была занята нарами. Пятидесятимиллиметровые доски были привинчены к металлическим перекладинам болтами. Ложились арестанты на голые доски головами к окну. Слева при входе в углу стояло ведро, носившее женское имя «параша». Её разрешалось выносить в уборную утром и вечером. В камере было темно, сыро и душил тлетворный запах испражнений, характерный для желудочно больных.

Лица заключённых были землисто-серого цвета и сильно исхудавшие. Потухшие глаза прятались глубоко в орбитах. Арестанты двигались мирно, относились ко всему безразлично. Ради любопытства новичок спросил у сидевшего рядом заключённого, за что его посадили. К его удивлению, разговаривать он с Химичем не стал.

– Вот что, душа лубезный, пока мы не узнали, кто ты, нас не спрашивай. Мы тебя будем спрашивать. Панымаеш? – это разъяснение адресовывалось Химичу от человека с грузинским акцентом.

– Понимаю, – виновато нараспев ответил зенитчик и новичок в камере.

– Если узнаю, что ты подсланный шпион, задушим ночью, – эти слова принадлежали человеку с сильно татуированной грудью и также исколотыми зелёной тушью руками. Все части тела, обнажённые от одежды, несли на себе в различных позах женщин и зверей, преимущественно хищников.

Химич замолчал. Сел на пол, опёршись на стену спиной.

– Ты был шофёром, попал в аварию и об лобовое стекло разбил голову – это правда? – интересовался человек с грузинским акцентом.

Химич возразил и принялся рассказывать всё, что сохранилось в его памяти. Рассказал и о взаимоотношениях с комиссаром и политруком. Ему нечего было скрывать. Всё было понятным и очевидным. Он не боялся шпионов и провокаторов, которых могли посадить в тюрьму и даже в камеру. Больше того, что на него наговорили, вряд ли что ещё можно добавить. Когда зенитчик рассказал о диалоге с политруком, что «докладом товарища Сталина стрелять нельзя. Докладом следует руководствоваться», многие рассмеялись, а грузин прямо сказал:

– Это ты правду говоришь. – И далее пояснил, что добрая половина командиров пострадала вскоре с политработниками.

– Командиру нужно учить людей боевой подготовке, а политработник тянет их и напихивает агитацией, – добродушно улыбаясь, вспоминал грузин случай из своей практики.

– За это ему лет восемь упекут, – кто-то из узников, лежавших на нарах, пророчил с огорчением.

– Ничего, за это не упекут, – возразил грузин, поясняя и доказывая на десятках примеров.

– Что значит «стрелять докладом»? Не предназначаются же мыльные пузыри на третье к обеду? Мыльные пузыри дети пускают для развлечений, а доклады читаются для руководства. Он правильно сказал этому болвану. Кто там этот Малюк, что ли?

Неожиданно открылась дверь. Уголовники политическим заключённым принесли баланду. Химичу дали миску, ложку и шестьсот граммов хлеба. Остальные арестанты хлеб получили утром.

После всех миску подставил бывший командир батареи. Ему мальчишка лет тринадцати влил в миску пол-литровый черпак баланды, а второй уголовник, чуть постарше, положил ложку ячневой крупы, сваренной на пресной воде. Это и был обед, завтрак и ужин, один и единственный в течение суток, если не считать двух кружек горячей воды утром и вечером.

Химич не был изнеженным. Однако если пища была тухлой или имела прокисший вкус и запах, его тошнило и выворачивало желудок наизнанку.

Когда он поднёс миску к носу, он тот час почувствовал, что варево приготовлено с вонючими костями и ещё отдавало чем-то, совсем гадким и отвратительным. Зенитчик помешал содержимое миски ложкой. Плавала ботва и коренья свёклы с плохо проваренными крупинками ячменя, превращённого на мельнице в крупу. Один корешок свёклы новичок поймал в ложку, принялся его рассматривать. На его корневых волосках сохранилась не отмытая бурая земля и какой-то жучок, вгрызавшийся в корень, не успевший покинуть своей норки, погибая от кипятка, остался в ней, как доказательство борьбы за своё существование.

– Ты не копайся, ешь! – сказал грузин уже с уважением и полезной угрозой новичку. – Когда всё съешь, я тебе скажу, что ты там поймал и рассматривал.

– Нужно есть. Нужно сохранять силы. Тебе ещё придётся на карусели побывать. А там без бычьей силы не устоять и не усидеть. – Это говорил, будучи в почтенном возрасте, Сидоров. Когда он кончил, в разговор снова вступил грузин. Бывшему командиру батареи он рассказал:

– Ты знаешь балку восточнее Рудольфовой горы?

– Как не знать, целый год ходил через неё на 75 батарею, – отвечал зенитчик, не сводя с грузина глаз.

– Зимой там выливают из бочек нечистоты. Понимаешь? Это из борных и выгребных ям. А весной всё это поле перепахивают и сеют на нём овощи для тюремщиков. Сеют и обрабатывают уголовники. Конечно, за короткий срок человеческие экскременты разложиться не могут. А что сделаешь? Мы же нелюди. Вот то, что ты рассматривал, выросло на нечистотах. Если бы хорошо промыли, может быть, так бы и не пахло. – Он, убитый горем, так низко наклонил голову, что можно было в полумраке разглядеть наметившуюся плешь и сильно поседевшие редкие волосы.

Химич послушался советов товарищей и постарался всё съесть. Несколько раз из его пищевода возвращалось варево и возникала потребность к рвоте, но он пересилил себя. Отвлекал себя, старался не думать о всех мерзостях, в плену которых он оказался.

Прошло пять дней. Зенитчик постепенно привыкал к тяжёлой судьбе, выпавшей на его долю. Заброшенные и поставленные в нечеловеческие условия люди привыкали и к грубому окрику, и к антисанитарным условиям, и к недоеданию, и психологически настраивали себя на самое худшее. Ведь завтра или через месяц могут осудить, а, возможно, и расстреляют... Что ж, так кому-то нужно. Кто-то этого пожелал и завтра выскажет своё удовлетворение, что так много и своевременно обезврежено «врагов».

Обречённым не полагалась защита и их только обвиняли. Они не могли рассчитывать ни на великодушные следствия, ни на помощь существовавшего закона, только на возможность

оправдаться, на возможность вынести пытки и не смалодушничать – единственно, на что возлагались надежды.

Нескоро соседи по нарам приняли бывшего командира-зенитчика за такого же несчастного, как и сами. Но как только убедились, что он такой же, как и они, без вины водворённый в камеру, откровенно начали о себе. Рассказывали всё: и хорошее, и дурное.

Пётр Григорьевич Чечелашвили – уроженец Кутаиси. Грузин, 36 лет. Самый старший из десяти братьев. На последнем году действительной службы изъявил желание стать командиром-авиатором. Командование просьбу удовлетворило. После окончания Ейского училища морской авиации дослужился до штурмана летающей лодки «Дорнье-Валя». Если оценить его знания, умения, выслугу лет, он давно должен был перешагнуть должность командира корабля, но его переписка с границей давала право непосредственным начальникам задерживать его рост, записывать в его аттестации, ставить вопрос о его политико-моральном несоответствии и возможности продолжать службу в рядах флота.

Чечелашвили был ниже среднего роста. На редкость плотного телосложения, богатырского здоровья. По южному темпераментный и подвижный. Логическое мышление было хорошо развито, а память и восприятие были развиты до совершенства.

Все сокамерники к нему прислушивались и пользовались его советами. Своей жизнью он никогда не подвергался ни приводу, ни репрессиям. Однако в совершенстве знал и правильно понимал процессуальное и уголовное право.

За три месяца до ареста он был от имени Наркома обороны премирован золотыми часами. Удостоился благодарности командующего за усовершенствование авиаприцела и бомбосбрасывателя при бомбометании с больших высот.

Отцовская семья Чечелашвили состояла из 14 человек. Десяти детей, двух бабушек, дедушки и отца. Мать после последних родов умерла.

Когда Петру исполнилось 18 лет, а самому младшему не было ещё и года, у дальних родственников умерла мать двух детей, а вскоре погиб и отец в шахте в Кибуле. Остались сиротами девочка и мальчик. Мальчика тот час взяли на воспитание его родные дедушка и бабушка, а девочку Кето всё семейство Чечелашвили согласилось взять и считать своей родной дочерью и сестрою. В том году девочке исполнилось одиннадцать лет. По рассказам Петра Георгиевича она была мила, кротка и ко всем добра. Обо всех заботилась, всем помогала. Все мальчики в её лице видели и друга, и защитника, а младшие – и своего покровителя. Когда Кето исполнилось 12 лет, она перешла в пятый класс. Учительница явилась в семью Чечелашвили и сказала:

– Кето имеет красивый голос и незаурядный слух. Нужно девочке давать уроки пения. Конечно, с возрастом может измениться голос, а если всё пойдёт благополучно? С опозданием обучения, будет многое потеряно. Лучше начинать учить сейчас, – разъясняла и убеждала учительница приёмных родителей.

На семейном совете все, и особенно старшие мальчики, просили отца учить Кето петь. Отец был горняком. Зарабатывал хорошо, но семья-то какая? И всё же решили платить за частные уроки пения. И чего бы это не стоило, учить Кето вокальному искусству.

Вскоре Кето поступила в музыкальное училище. А когда ей исполнилось 18 лет, приехал какой-то профессор, послушал девочку и увёз её в Тбилисскую консерваторию.

В консерватории авторитет Кето рос не по дням, а по часам. Все радовались её одарённости. Гордились её добротой ко всем – и воспитателям, и приёмным родителям.

– Она так добра к нам. Кето будет помогать нам. Это наше счастье. Это наша обеспеченная старость, – в один голос твердили дедушка и бабушки.

Слава у Кето Чечелашвили уже неслась, выходила за ворота консерватории. Когда отец приехал в Тбилиси, чтобы осведомиться об успехах приёмной дочери, был приятно растроган

хвалебными отзывами. Он решил работать по полторы смены, только бы обеспечить девочку всем необходимым и создавать для её обучения наилучшие условия, он позабыл о маленьких мальчиках. Все остатки денег от жизни впроголодь отдавал «дочери», будущей звезде искусства.

Однажды, когда Кето побывала в Москве и дала со своим преподавателем несколько концертов, на девочку обратили внимание. И просьба грузинского правительства была удовлетворена. Певицу послали в Италию на усовершенствование.

Семейство Чечелашвили охало и ахало. Любимая Кето уезжает на чужбину. Ей там будет скучно и трудно среди чужих людей.

Все, даже Гога-второклассник, писал утешительные и ласковые письма. Особенно много писем посылали бабушки и старшие мальчики. Писал и командир военно-морского флота Пётр Георгиевич. И вряд ли кто из них задумывался, что переписка с границей в то время вызывала со стороны органов подозрение, слежку, а для командира-лётчика оценивалась как несовместимая с пребыванием его в советской авиации.

Прошло два года. Срок стажировки окончился. Но Кето не возвращалась на Родину. Только, как и раньше, своим благодетелям присылала короткие письма и много денег.

А когда один «умнейший из умнейших», возглавляя советское консульство в Милане, пожаловал к певице и начал её уговаривать возвратиться на Родину, но, поняв, что у певицы намерения другие, счёл себя в праве пригрозить ей, убеждая: «Вас уже теперь можно отправить на эшафот за измену Родине», актриса побледнела, и сказала предлог быстрее закончить разговор, лицемерно заявляя, что она вернётся. Ей только нужно подумать, когда лучше возвратиться, когда с точки зрения приличия удобнее, предварительно выполнив заключённые контракты. Она убедила консула, что так соскучилась по мальчикам, мамам, бабушке и заботливым папе.

В феврале 1936 года Кето прислала всем родственникам по письму, написанному под копирку, и, конечно же, и Петру Георгиевичу, лётчику военно-морского флота. Не только письмо, но крупную сумму денег.

Пётр Георгиевич в ответном письме поблагодарил «сестру», умоляюще попросил быстрее возвращаться на Родину. Он писал: «Дорогая Кето, твоё возвращение мне принесло бы больше радости, чем деньги. Возвращайся, мы все тебя ждём».

На просьбы и уговоры певица отмачивалась. Ей продолжали писать чаще. Писали и тогда, когда она уже жила во Франции и получать их писем не могла. Писали и тогда, когда она вышла замуж, эмигрировала в США и приняла их подданство. Уговоры не помогали. Всё закончилось, как захотела Кето.

Когда рационализаторское предложение Петра Чечелашвили получило признание, было принято и уже использовалось во всех боевых самолётах эскадрильи, командование сочло необходимым засекретить его, а рационализатору Чечелашвили указать: «Сдать всё, что написано и начерчено о прицеле и бомбосбрасывателе». Чечелашвили особого значения предупреждению не придал и хранил у себя дома различные черновики, которые лежали на письменном столе, к которому мог быть доступ у любого человека.

Один из «друзей» заметил оплошность командира и донёс, куда следовало. «Ага! Значит Чечелашвили куда-то и кому-то ещё готовит чертежи?!». К тому же переписка с границей, получение крупных сумм денег из Италии. За что?

Чечелашвили обвинялся по трём статьям: «Принадлежность к контрреволюционной партии, шпионаж в пользу Италии и измена Родине». Только по одной из них была положена высшая мера наказания.

Шевцов Николай, 29 лет. Красавец, весельчак и балагур. Имел приятного тембра баритон. Пел неополитанские песни. У всех узников камеры № 17 было единодушное мнение: петь

этому артисту с большой сцены отдыхающим и любителям музыки. К сожалению, сам Николай благословил себя не службе искусству, а воровству.

Отбывая наказание, он трижды знакомился с девицами в местах, отдалённых и не столь отдалённых. Давал взаимную клятву по окончании срока встретиться и стать мужем. Представьте себе, все три раза выполнял даваемую клятву. Выходил на свободу, женился, но медовый месяц прерывался раньше принятого в народе – попадался на новой краже и снова водворялся за решётку.

Шевцов стал жертвой времени. В восемь лет он лишился родителей и свыше шести лет беспризорничал. Жил в канализационных трубах и тогда, когда всех беспризорников переловили, его поймать не могли. Из него получился редкий по силе ловкач. Такой хитрый сообразительный преступник, какого никакая наука воспитать не может. По его собственному признанию в детстве он совершил не менее ста пятидесяти мелких краж. В тот период он называл себя крохобором, так как подбирал всё, что было неаккуратно припрятано. В отрочестве он переквалифицировался и стал карманщиком. Очистил не менее пятисот карманов. В юношеском возрасте он совершил семь крупных краж. И только на двух был пойман. Когда перешагнул барьер совершеннолетия, он стал соучастником крупной шайки, а вернее банды, та совершала взломы, убийства, воровство и дневные грабежи. В составе шайки Шевцов совершил 9 краж и ограблений и в двух из них он был пойман и осуждён. К удивлению тогдашних порядков, Шевцов шесть раз осуждался в общей сложности на 21 год, но фактически отбывал только два года и восемь с половиной месяцев.

Когда Шевцов Николай был 10-13-летним мальчиком, его трижды подбирали на улице полуобмороженного. Состоятельные и порядочные люди предлагали ему усыновление. Он соглашался. Его обмывали, одевали, кормили, даже пробовали учить, но когда наступала весна, он приглашал «папу» и «маму» в ближайший садик, благодарил их за гостеприимство, предварительно очистив у своего семейства карманы, спокойно убегал. Убегая, он оборачивался, посылал воздушные поцелуи с короткими и благодарственными улыбками.

В 22-летнем возрасте Шевцов стал профессиональным и матерым вором. Был активным членом синдиката, объединявшим воров Одессы, Днепропетровска и Симферополя. Синдикат имел своих людей в 25 городах страны. В них представители синдиката устанавливали связи с местными ворами, хорошо знавшими город. С их помощью и совершались крупные кражи и ограбления. После ограблений представители синдиката тот час покидали город и возвращались в штаб синдиката, находившегося в Одессе на Молдаванке.

Последний раз Шевцов вернулся из лагерей бухты «Ольги2, где он проработал свыше года на свинцово-цинковых приисках. В том же году состоялась клятвенная встреча с некоей Любой, отбывавшей наказание на тех же рудниках и за такие же преступления, как и Николай. Тогда же состоялась и последнее обручение.

На свадьбе Шевцов дал клятву больше не воровать. По протекции близкого человека он устроился на сухогруз «Харьков» кочегаром. А Люба на том же транспорте стала буфетчицей и работницей при камбузе.

«Харьков» был приписан к Одессе и совершал каботажные перевозки в Чёрном море.

Вскоре Шевцову «повезло», «Харьков» с грузом пшеницы из Новороссийска отправился в Ленинград. На пути были остановки в портовых городах: Гавре и Киле. На обратном пути из Ленинграда сухогруз имел остановку в Лиссабоне.

Короткое знакомство, вернее краткое созерцание жизни за границей, произвело переворот в сознании Николая Шевцова. Он уже не мог возвратиться к прежней воровской жизни, а та, которая открывалась ему на будущее, в должности кочегара, казалась серой, неинтересной, в сравнении с жизнью, увиденной за границей.

Погубило его непонимание условий своего времени. Он был о многом осведомлён. Многого на ходу нахватался, но был по существу безграмотен, с узким политическим кругозором.

Он не сдерживал себя и довольно свободно высказывался о партии и советской власти. Это и привело его в севастопольскую тюрьму, в камеру № 17.

Шевцов Николай, находясь неоднократно в заключении, хорошо знал устои политических заключённых в период сталинской диктатуры. Он убеждённо твердил:

– Лучше получить 10 лет за уголовное преступление, чем три года по политической статье и числиться уголовным преступником.

Ровно через 20 дней после прихода в камеру Химича, Шевцова судил трибунал. Почти час члены трибунала, сидевшие за столом, накрытым красным сукном, слушали его последнее слово. Ничего подобного трибуналы никогда не позволяли. Не тратили так много времени на заседания. Только подсудимый Шевцов привлёк их внимание, рассказывая о своей жизни подробно и правдиво. Он признался в сотнях краж. Рассказал о десятках ограблений, об убийствах и угрозах честным гражданам, поясняя:

– Я признаюсь, что убил человека, защищавшегося при моём ограблении. Да, я чинил насилие над девушкой в интересах завладения её деньгами. Резал карманы. Держал под дулом револьвера хозяев квартиры, пока дружки не связали в узлы костюмы и не сложили в корзины хрустальную и серебряную посуду. А в то, что у вас написано «наговор» – ложь. За все преступления, которые я совершил, я признаюсь и каюсь, а вот, что в Германии люди живут лучше, я не говорил. Я также не говорил, что в плохой жизни виновен Сталин. Я Сталина люблю, и если понадобится, то и голову за него отдам. Вы говорите, бывшая жена Люба вам сказала – с женой я давно поссорился, и она тоже лжёт.

Шевцов чисто сердечно излагал свою биографию, наивно думая, что трибунал переквалифицирует обвинения и осудит его как уголовного преступника. Когда Шевцов сказал: «Я не могу быть политическим преступником. Я вас прошу судить меня как вора», – судьи заулыбались. И, конечно же, учли все его просьбы и вскоре объявили «гуманный» приговор: «За контрреволюционную агитацию и пропаганду, согласно статье 58 п. 10 УК РСФСР приговорить к восьми годам исправительных трудовых лагерей со строгим режимом и пяти годам поражения в правах».

Крижановский Борис, 30 лет. Имел среднее общее и техническое образование. Старший механик на судах дальнего плавания. За семь лет заграничного плавания успел побывать во многих портах Советского Союза и за границей. Внештатный корреспондент газеты «Красный Черноморец». Владел английским языком.

Он был среднего роста, блондин с продолговатым лицом. В процессе разговора все части его лица находились в непрерывном движении, были синхронно связаны с речью. Мимика его лица зависела от эмоций. Когда он говорил, радуясь, глаза его искрились, губы слегка вытягивались в скрытую улыбку. Вся его наружность становилась приятной и обаятельной. Когда он говорил о неприятных, опасных явлениях, брови его сдвигались, глаза прятались глубоко в орбитах, подбородком сжимались губы. Он вмиг становился мрачным, неприятным, а временами и страшным. К счастью, он чаще был уравновешен и терпелив, говорившего никогда не перебивал, терпеливо выслушивал. На раздражение рассказчика или слушающего отвечал положительным молчанием, пока тот не успокоится. Он сидел уже больше года. Вначале во Владивостокской тюрьме и шестой месяц в Севастополе.

В детстве Крижановский болел активной формой туберкулёза. В последние годы до ареста барсучьим и собачьим жиром каверны зарубцевал. В тюрьме от недоедания, пыток и холодной одежды палочки Коха возобновили разрушение его слабого организма. День и ночь он мечтал о кусочке какого-нибудь жира. Всё равно какого – собачьего или кошачьего, но лишь бы жир. Слабеющий организм требовал. Он вызывал врача, показывал мокроты с кровью и лёгочной тканью. Врач отвечал:

– У вас богатейское здоровье. Вы меня переживёте.

Больной просил перевести его в солнечную камеру. Врач, которого в тюрьме называли «коновалом» или «помощником смерти», ответил:

– Здесь командуют органы насилия и карания. Я же только исполнитель.

Крижжановский, будучи старшим механиком на грузопассажирском судне «Ян Фабрициус», оказался рядом с механиком, который по совместительству исполнял роль осведомителя. Осведомитель, поссорившись со старшим механиком, совершил лживый донос. «В советской стране жить бесправно и тяжело. Когда представятся условия, останусь за границей», – так якобы сказал однажды осведомителю старший механик Крижжановский.

Следует знать и помнить в середине 30-х годов министр юстиции СССР Януар Вышинский упразднил веками сложившееся процессуальное право: «Признать виновным вменяемого только после доказательства всем ходом следствия его вины». Это право Вышинский заменил свидетельскими показаниями. Он обязал все органы следствия, суда и прокуратуры не утруждать себя поисками доказательств. Для предания суду и осуждения достаточно иметь не менее двух свидетельских показаний, или одного свидетельского показания и признания обвиняемым своей вины.

В деле Крижжановского было одно свидетельское показание – донос его подчинённого механика. Крижжановского сильно били, вымогали признание. Но честный человек наговора на себя не подписал. Он не признал себя виновным. Следователи искали второе свидетельское подтверждение. Для этого запрашивали с прежних мест работы возможные криминальные поступки старшего механика. В ожидании ответов на запросы Крижжановский томился без вызова следователя уже пятый месяц.

Если найдутся подлецы на прежних местах работы и подтвердят, что Крижжановский выказывал недовольство жизнью в своей стране и раньше, этого будет достаточно, чтобы его предать трибуналу и осудить.

Мстибовский Янек. Поляк, 23 года.

Так случилось, что в 1920 году, во время интервенции армии Пилсудского против СССР, Янек и старший брат Петер оказались с бабушкой в Минске. А отец с матерью и дочерью, сестрой Янека – в маленьком польском городишке Волковыске.

Бабушка с Янеком и Петером жили на средства, высылаемые отцом из Польши. В 1930 году Петер окончил Московский энергетический институт. А 1935 году он стал управляющим «ДонЭнерго».

В 1937 году Янек окончил географический факультет МГУ им. Ломоносова с отличием. На деньги, присланные отцом, и помощь брата Янек решил совершить турне по стране с познавательной и развлекательной целью.

Пять дней он гостил у Петера в Константиновке, где расквартировывалось «ДонЭнерго». Оттуда он приехал в Севастополь и остановился в гостинице, где у него взяли все документы.

Мстибовский Янек внешне выглядел мальчиком лет шестнадцати. Невысокого роста с болезненной внешностью, реагировал на посторонние реакции точно, с яркими и образными представлениями. От папы-поляка он унаследовал светлые волосы, слегка продолговатое без малейшего румянца лицо. От мамы, отец которой был евреем, Янек унаследовал большие чёрные глаза, острый ум и высокомерие над другими. Его глаза двигались медленно и, как угли антрацита, излучали блеск.

Если в жизни действительно бывают вундеркинды, то Янек был настоящим представителем сверхдетей. Знаний этот человек имел так много, что их хватило бы предостаточно на всех узников камеры № 17. Арестантам он читал настоящие лекции. Особенно тюремщики заслушивались рассказами из таких наук как зоогеография, фитогеография, океанография, орнитология и других естественных наук.

Неприятным и даже отвратительным в этом человеке была привычка унижать достоинства других. Любой человеческий недостаток он возводил в степень и подшучивал над ним, нередко до издевательства.

В первый же день по прибытии в Севастополь Янек отправился осмотреть севастопольскую панораму. После осмотра сел на скамью Исторического бульвара и закурил.

День был воскресным, послеобеденным. На Историческом бульваре прохаживалось много краснофлотцев. Пять человек краснофлотцев из крейсера «Красный Кавказ» тоже решили присесть на скамью, на которой уже сидел Янек.

Молодой человек был общительным, высокообразованным, владел правильной русской речью. Он затронул соседей, и тотчас нашёл с краснофлотцами общий язык. Вначале разговор вёлся с взаимным интересом. Но когда Янек спросил, что они делают на корабле и они действительно естественно уклонились от ответа, Янек начал подшучивать над ними: с пренебрежением отозвался об их малограмотной речи, плохой строевой выправке, напоминавшей пожилых помещиков, которые умели только через одну ноздрю сморкаться и рукавом сопли вытирать. Издевательские нравоучения морякам не понравились, и они дружно поднялись и быстро стали удаляться. Вдогонку им Мстибовский бросил:

– Салаги вы, а не моряки. Вы даже в своей жизни летающих рыб не видели!

Краснофлотцы остановились, долго о чём-то разговаривали, всё поворачивая голову в сторону Янека. Затем неожиданно возвратились и окружили сидевшего Мстибовского.

– Кто ты такой? – громко спросил старшина первой статьи.

– А тебе какое дело? – затягиваясь папиросой и сплёвывая почти на ботинки старшины, грубо ответил севастопольский гость.

– Пройдёмтесь с нами, – категорично предложил старшина первой статьи.

Мстибовский заупрямился. Тогда два краснофлотца взяли его за руки, один стал впереди и два сзади. Применив силу, повели севастопольского гостя в отделение милиции.

Принял это решение старшина, казавшееся ему единственно правильным. Оно согласовывалось с теми указаниями, которые они получили на разводе перед увольнением. Дежурный политрук их предупредил:

– На берегу соблюдайте воинское приличие. Будьте бдительными, не болтайте о службе. Вас могут подслушать шпионы.

Спускаясь к северным воротам Исторического бульвара, почтительного возраста гражданин, увидя процессию, рассмеялся, а затем и громко спросил:

– Никак шпиона поймали? – гулявшие вокруг, тоже смотрели на насилие, как на диковину, но уже привычную.

– Ей-ей, арабчонок какой-то. И глаза какие-то страшные у него, – чей-то удивлённый голос слышался издали.

Сдавая Мстибовского в отделение милиции, краснофлотцы объяснили:

– Задержанный интересовался нашими служебными делами.

Когда из отделения милиции позвонили в гостиницу, администратор ответил:

– Мстибовский разрешения на въезд в город не имеет. Его уже разыскивают.

Через сорок минут Янек оказался в севастопольском НКВД. А через два часа за ним захлопнулась дверь семнадцатой камеры.

Севастопольский НКВД радиogramмой запросил константиновский НКВД. Поводом послужило показание Янека, что он приехал из Константиновки, где гостил у брата. Радиogramма была краткой: «Кто такой Мстибовский Петер? Мстибовский Янек задержан по подозрению в шпионаже».

Когда начальник константиновского НКВД позвонил секретарю горкома, сообщая, что младший брат Мстибовского задержан в Севастополе за сбором шпионских сведений, секре-

тарь городского комитета партии начал рвать на себе волосы. Он чувствовал, он предвидел всё случившееся. И в ту минуту задумывался, какая его ждёт кара.

Дело в том, что Мстибовские переписывались с родителями, проживавшими в Польше. За переписку Петера с заграницей вопрос уже стоял о пребывании его в партии. Но тогда во время разбора выяснилось, что Мстибовский Петер выполнял свой долг добросовестно. Придаться к нему не могли. Между тем секретарь горкома предлагал уже тогда, и начальник НКВД поддерживал его, исключить Мстибовского из партии и отстранить от должности. Однако тогда большинство членов горкома оказалось не на стороне секретаря. Мстибовского оставили в партии и на должности управляющего.

– А теперь – вот – пожалуйста, меня вправе обвинить в ротозействе и даже покровительстве врагов! – выдёргивая последние волосы, сокрушался на свои просчёты секретарь горкома. Он решил немедленно созвать бюро.

Телефоны зазвонили в два часа ночи. Бюро состоялось в три часа. В течение десяти минут было заслушано сообщение члена бюро, начальника НКВД о задержании младшего Мстибовского и уличении его в шпионаже.

Петер Мстибовский был исключён из партии, уволен с работы, а к утру ему ткнули в нос длинную и узкую бумагу. Произвели обыск и водворили в такую же камеру такой же тюрьмы как севастопольская, где сидел его младший брат Янек. Круг замкнулся. Братья Мстибовские обвинялись в шпионаже в пользу панской Польши.

Иван Пидопрыгора. Сорокалетний украинский мужик. Родился и рос в глухой деревне. За свою жизнь сумел научиться с трудом расписываться. Книг и газет не читал, не умел. Спиртного не переносил. Курить никогда не пробовал. Последние годы он работал в карьере по добыче доломитов в окрестностях Балаклавы, а семья проживала в Белой Церкви.

Осенью 1932 года Иван приехал на заработки, да так и остался, продолжая работать уже шестой год. Всё собирался перевезти семью, но жить было негде. Решил экономить деньги и построить домик на окраине Балаклавы.

Работал он в карьере добросовестно и много, сколько требовали и позволяли физические силы. От директора металлургического завода он знал, что без его породы чугуна домны выплавить не могут, оттого и старался сделать больше и лучше.

Специальность его была одна из тяжелейших. После того как рабочие выломают ломami и кайлами куски породы, он их крупные – руками, мелкие – лопатой наваливал в тачку и вёз по досчатому настилу прямо на железнодорожную платформу.

Когда Химич рассматривал этого человека со стороны, он определял, как за годы непосильного труда руки его удлиннились сантиметров на пять и висели, почти доставая колена. Сдвинувшиеся вперёд плечи сжимали впалую грудь. Голова его тоже была низко наклонена, казалось, тонкая шея не выдержит тяжести и уронит на грудь. Химич в лице этого труженика узнавал свою мать. Такую же несчастную, работающую и за себя, и за многих лодырей и дармоедов.

За честный труд фотография Пидопрыгоры постоянно висела на доске почёта. Его ежегодно по несколько раз премировали. На собраниях ставили в пример другим. И он на похвалу отвечал титаническим старанием. Куда бы его ни послали, на какую бы работу его не поставили, он безропотно шёл и делал как можно больше, как умел, и столько, сколько позволяли его силы и время.

Однажды Пидопрыгора возвратился с работы в полночь, со второй смены. Морозов уже не было. Но после весеннего холодного дождя и сильного ветра в хлопчатобумажной одежде он сильно продрог. Портянки и лапти его, в которых он трудился, были изношены и промокли насквозь. В общежитии была специальная комната, где рабочие сушили лапти и одежду. В ту ночь почему-то в сушилке было также мокро и сыро, как и на улице.

– Що ж тепер робыты? – затосковал Иван. – Завтра я повинен выходить на роботу, з першою зминою, – вспоминал он наказ прораба.

– Як же я буду працюваты в такому мокрому одягу? – спрашивал себя честный труженик.

Все спали. Он вспомнил вчерашнюю беседу какого-то агитатора, расхвалившего счастливую зажиточную жизнь рабочих. Он сел на стул, стоявший рядом с его кроватью, поднял голову: перед ним на расстоянии трёх метров висел в тяжёлой раме портрет, исполненный в полный рост маслом. В общежитии это было пятое по счёту изображение нашего вождя, друга, отца и учителя. Пидопрыгора принялся его рассматривать, точно никогда не видел. Затем энергично встал, подошёл к портрету, начал с ним разговор:

– Чоботы то на тоби яки? А костюм – розшыты та розмалёванный. Тобто ты не чоловік, а дивчына. А у нас робитныкив добрых онучив немає. Ты не знаеш, як мы живымо? На, подывысь! – он поднял грязную голую ногу, выругался нецензурно, что бывало с ним очень редко. Под портретом была отопительная батарея. Иван положил на неё свои холодные руки. Батарея была чуточку тёплой. Он быстро пошёл в холодную сушилку, взял лапти и портянки. Лапти он повесил прямо на портрет, а портянки повесил на нижние гвозди, поддерживавшие раму портрета. Не раздеваясь, лёг на койку и натянул на голову солдатское одеяло.

Рано утром его пробудили сильным окриком. Иван вскочил:

– Ты! Что это?! – закричал комендант общежития. Пидопрыгора даже забыл, что он делал в полночь. Только когда ему комендант показал, и он взглянул на портрет, всё вспомнил, быстро подбежал, снял портянки и лапти и недовольно сказал:

– Хай знае, як мы тут живемо! Мени зараз йты на роботу, що я надину – все мокрэ!

– Чёрт тебя не возьмёт, пойдёшь и в мокром! – комендант рассуждал зло и издевательски.

Неизвестно откуда появился уполномоченный. Он подошёл к Ивану и пренебрежительно объявил:

– Сегодня ты пойдёшь со мною.

– Мени трэба обов'язково буты на работи, прораб сказав...

– Пойдёшь со мной! Одевайся!

Ничто не помогло и никто не помог – Ивана увезли. До вечера его держали в милицейском участке, а когда на Пидопрыгору из Севастополя получили длинную и узкую бумагу, вызвали «Чёрный Ворон» и увезли. Портянки и лапти его высохли на ногах раньше, чем захлопнули за ним дверь камеры № 17.

Суд над Иваном состоялся до обеда. В течение пяти минут зачитали обвинительное заключение. Свидетелей не было, прокуроров и защитников тоже. За шесть минут опросили Пидопрыгору. Приговор был заготовлен заблаговременно.

– Иван, сколько же тебе дали? – спросил Чечелашвили.

– Висим рокив.

Осуждённый ни на кого не смотрел. Глаза его были обращены в чёрный пол. Говорил он медленно, преодолевая боль и слёзы. Говорил он правду.

«За контрагитацию и пропаганду в рабочем общежитии» его осудили на восемь лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах, после отбытия наказания с правом проживания в отделённой местности.

– Иван, Расскажи, как всё же проходил суд? – интересовались все его товарищи по камере, переживая с ним бесчеловечную кару. За что и во имя чего этот честный труженик так жестоко был наказан?

– Який там суд? Ниякого суда нэ було! – говорил Пидопрыгора без озлобления, но с видимой тревогой и обречённостью в голосе.

Когда он понял, что товарищи действительно интересуются, что их ждёт такая же участь, он изъявил желание рассказать о своём горе. Все его слушали, и никто не перебивал.

– Привэлы мэнэ в якусь нэвэлычку кимнату. Потим прыйшлы тры чоловіка, командиры. Мэнэ заставылы встать. Я встав. Тоди знову посадылы. Потим той, який сыдив посэрэдыни, довго чытав якусь папэру. Всэ, що вин чытав, дийсна брэхня. Нарешти пытае: «Вызнаеш сэбэ вынным?». «Ни в якому рази», – видповидаю.

На лбу у Ивана выступил пот, глаза часто мигали. В сильном волнении он много раз повторял уже сказанное.

– Тоди той, який сыдив посэрэдыни й кажэ: «Чому ж ты видмовляешся? Ты образыв нашого вчытэля, нашого вожака». Я не стэрпив: «Пробачтэ мэнэ, тэмну людыну. Я не ображав. Хиба ж такы можна таку вэлику птаху, як Сталин, ображаты? Сталина уси люды шанують. Хиба ж можна йты проты усих людэй?» Тоди пытае крайний: «Нащо ты повисыв онучи та лапти на портрэт?». «Щоб воны там трохи просохлы, – видповидаю и продовжую розмову. – Пид портрэтом була батарэя, вона була трошки тэплэнькою, так я й повисыв». «А що ты казал, коли вишав?». «Пробачтэ, добри люды, – запэкло в грудях и я сказав. – Подывысь, як мы погано жывымо. Онучи посушыть и то нидэ».

Воны почали рыготыть. «Пробачте, – звырнувся я знову. – Вам усмишкы, смиетэся и не знаэтэ, що цього вэлыкого чоловіка заточылы в Крэмлэвську хортэцю и до людэй не пускають». «Какого великого человека?». «Вы не знаэтэ, як жэ вам не соромно! Сталина. Вин, бидолага, нэ знае, як нам, робитныкам, тяжко бувае».

Потим той, який сыдив посэрэдыни почав чытаты показ свидкив. Я уже и забув, що там воны брэхали. Та й призышца свидкив якись мэни нэвидоми. Колы воны трошкы порозмолвялы, сэрадний и каже: «Вам надаэтэся останне слово». Я довго не миг прызнаты, чому останнэ, алэ потим зрозумив.

В конце своего рассказа Иван Пидопрыгора рассказал о своём обращении к суду. Он просил:

– Уважаемые граждане судьи, я вас очень прошу, пожалуйста, отпустите меня домой. У меня трое детей, старая мать, отца расстреляли махновцы, жена уже третий год болеет и не поднимается с постели. Возможно, я что-нибудь и сказал не так, слишком грубо, но ведь вы же сами видите, что человек я неграмотный и не могу сказать, как люди просвещённые. Извините меня, пожалуйста.

Суд учёл все обстоятельства и просьбы подсудимого и поступил и не по закону, и не по-человечески.

Полищук Никита. Около сорока лет. Бывший политрук команды в тылах. Вёл себя замкнуто. По его словам, он был арестован по доносу своего товарища, увидевшего книгу Бухарина, подложенную под короткую ножку кровати. При обыске из его библиотеки извлекли и брошюру Зиновьева.

Недюжий Ефим. Шестидесятилетний крестьянин. Он родился и большую часть жизни прожил в окраинах города Геническа. В 1930 году был раскулачен. Переехал в Бахчисарай. Работал с семьёй в объединении Симферопольского садвинтреста рабочим. Он был занесён в списки «опасных для советской власти».

За семь лет после раскулачивания, он арестовывался третий раз. Первый раз после ликвидации бухарьевско-зиновьевской оппозиции. Второй – после убийства Кирова, третий раз – в связи с чисткой армии и флота. Этот человек научился молчать и делать всё, что заставят, и, тем не менее, спокойно жить не мог. Судить его не за что было. Он ожидал либо освобождения после завершения кампании чистки, либо по постановлению тройки высылки временной, а, возможно, и постоянной – в отдалённый район страны.

Недюжий рассказал о себе всё. По нарисованному портрету своей жизни, он никогда не был кулаком. Всю жизнь он и его семья жили личным трудом. Но жили культурнее и лучше многих в селе. За это человек и поплатился не только благополучием, но и спокойной жизнью.

Сидоров Яков. Рабочий Морского завода. 49 лет. 33 года проработал в одном цеху. Он был специалистом редкой и высокооплачиваемой специальности. Он уже арестовывался и сидел в тюрьме 15 месяцев по делу 22-х или иначе, как именовали органы, по делу контрреволюционной партии Лойко.

В начале 30-х годов неумелая, без научных расчетов начатая коллективизация сельского хозяйства обернулась голодом не только для крестьян, но и для рабочего класса. В марте 1931 года рабочие Морского завода имени Орджоникидзе несколько дней не получали продуктов питания.

Начальник одного из цехов завода инженер Лойко написал жалобу в горком партии. Сидоров под жалобой собрал 22 подписи. Жалоба носила ультимативный характер: «Если рабочие не будут ежедневно получать хлеб, то он (Лойко) остановит цех».

Через пять дней инженер Лойко был отстранён от руководства цехом, исключён из партии и через два дня был арестован. А спустя три месяца он был и осуждён на три года лишения свободы.

После отбытия тюремного заключения Лойко возвратился в свой цех. Рабочие его встретили с цветами и требовали от руководства заводом восстановить Лойко в прежней должности начальника цеха. Администрация была вынуждена исполнить требования рабочих.

К сожалению, начальник цеха инженер Лойко не прекратил агитации против руководства заводом. Вокруг него начали группироваться такие же недовольные рабочие, как и он. Вскоре, на одном из своих собраний, рабочие постановили: «Предложить администрации завода снять с должности главного инженера завода и на его место поставить инженера Лойко».

Руководство заводом и городом серьёзно встревожилось, и снова пригласили на помощь НКВД. Вторично Лойко осудили на пять лет с высылкой после отбытия срока наказания в отдалённые районы страны.

События 1937 года распространялись не только на армию и флот. Они с такой же жестокостью обрушились и на рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию.

Все 21 человек, примыкавшие своими убеждениями к Лойко и подписавшие с ним письмо, были арестованы и рассредоточены по камерам тюрьмы. Сидоров оказался в камере № 17. Организатор составления письма инженер Лойко был возвращён в места заключения и водворён в камеру-одиночку.

В годы самодержавия Сидоров был профессиональным подпольщиком. Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях. В первых рядах шёл при провозглашении Советской власти в Крыму. И как можно было судить арестантам по камере, был человеком смелым, решительным и справедливым.

Прошло двенадцать дней, как Химича водворили в семнадцатую камеру. По закону обвинение полагалось предъявить в десятидневный срок. Но почему-то с вызовом зенитчика не торопились. Химич, задумываясь, спрашивал товарищей:

– Почему не вызывают?

– Тысячи арестованных. Не успевают, – высказывал предположение грузин.

– Нет достаточного материала. Собирают по крупницам. Ищут хоть что-нибудь, – рассуждал Крижжановский, не возражая Чечелашвили.

– А я думаю – и то и другое, не исключено и третье. Господа из НКВД позабыли законы. Права то ведь, какие им даны? – это говорил Сидоров. Он, кружась на двухметровом пяточке

у самой двери, про себя рассуждал, не обращая внимания на остальных. Неожиданно он остановился, поднял голову и внимательно посмотрел на товарищей.

– Сидел в этой тюрьме в камере одиннадцатой в 1916 году, обвинение предъявили в положенный срок.

– Расскажите, пожалуйста, так было в 1916 году? – кто-то спросил из лежавших на нарах.

– Так никогда не было. Пидопрыгору в шестнадцатом году, если бы он повесил портянки на портрет Николая II, суток бы на пять посадили в карцер, при условии, если бы он был офицером. Но так как Пидопрыгора является гражданином, то пожурили бы. Попробовали бы разьяснить: «Ведь так нельзя! Он – царь-батюшка!».

Высказавшись, Сидоров возобновил топтание на крохотном пятачке у двери. Не поднимая головы, он долго думал и неожиданно снова принялся рассуждать:

– Это только подумать – восемь лет тюрьмы. За что?! – он почти закричал, лицо в судорогах задрожало. – Да поймите же, Пидопрыгора – неграмотный человек. Для него портрет Сталина и вешалка для шляп мало чем отличаются! Это что же, газеты с портретами нельзя использовать в туалетах, выбрасывать в урны? Ну и порядки... Вероятно, скоро заставят молиться на портреты вождей, – он остановился в глубокой задумчивости, долго качал головой, не обращаясь к товарищам, снова возмутился. – Это особый метод террора. Это особый метод запугивания. Этими путями решили заставить молчать, превратить людей в послушную толпу, в стадо животных!

СВИДЕТЕЛЬ БОГДАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Когда Малюк и Алёхин получили повестки явиться на Пушкинскую улицу в качестве свидетелей, накануне вечером было проведено внеочередное комсомольское собрание 78 батареи. На собрании в числе других вопросов стоял и вопрос «О сожжении комсомольских дел по приказанию бывшего командира батареи Химича». Сообщение сделал член бюро. В своём выводе он предложил собранию объявить Алёхину выговор за нарушение правил хранения комсомольских документов и завести дубликаты вместо утраченных дел.

Батарейный писарь Богданов в это время нёс караульную службу по охране позиции. Узнав о решении собрания, он немало был удивлён:

– Как же так, – рассуждал писарь, – командир батареи приказывал мне сжечь мусор, собранный в шкафу. Комсомольские дела он не приказывал сжигать. И они не сожжены. Они извлечены из хлама и спрятаны. Почему же меня не опрашивают об этом?

Писарь Богданов правильно мыслил. К тому же, он был не только удивлён, но и оскорблён.

После возвращения из караула в казарму он открыл шкаф, посмотрел в журнал боевых действий батареи. Четыре дела, фигурировавшие на собрании, как утраченные огнём, лежали в журнале на том месте, куда он их положил в авральную субботу.

Но когда Богданов узнал, что Алёхину дали выписку из протокола и политрук её заверил, о том, что он получил выговор от собрания за четыре комсомольских дела, которые были сожжены по приказанию бывшего командира батареи, писарю всё стало понятным. Собирался материал для обвинения бывшего командира батареи.

До службы на флоте Богданов Владимир учился на втором курсе юридического факультета заочно. До этого он окончил школу юристов. Призывался на флот из Министерства юстиции СССР, где он работал свыше двух лет. Отец, мать и дедушка работали там же. Семья, в которой вырос Владимир, была интеллигентной, высоко культурной и безупречной честности.

С семнадцатилетнего возраста Богданов – бессменный руководитель комсомола в Министерстве. Владимир знал комсомольскую работу в совершенстве и любил её.

Когда политруком 78 батареи был ещё Задорожный, Химич просил его рекомендовать собранию комсомола батареи Богданова. Задорожный согласился, однако Ткаченко возразил.

Комиссар полка дал указание Задорожному избрать секретарём не служащего, а рабочего. Так была отведена кандидатура опытного комсомольского вожака и всплыла на поверхность кандидатура малограмотного, ленивого безынициативного Алёхина.

Извлекая комсомольские дела из мусора, Богданов ждал, что его спросят, не находил ли он пропавших дел? А Богданов, как человек буквы закона и опытный, честный и аккуратный намеревался спросить: «А кто дал право бросать комсомольские дела в запущенный шкаф? Если есть специальный сейф, где они должны были храниться». К сожалению, подобный разговор не произошёл.

В ближайшее воскресенье Богданову разрешили увольнение в город. Походив два часа на Историческом бульваре, на обратном пути он решил зайти в НКВД. Встретил его дежурный по управлению. Богданов объяснил, кто он и что его привело к ним. Дежурный распорядился провести краснофлотца к начальнику третьего отделения, шефу КУРа старшему лейтенанту Грабченко.

Несмотря на воскресный день, управление работало как в обычные дни. Его сотрудники давно позабыли о существовании выходных дней.

Сопровождавший Богданова помощник дежурного открыл дверь и представил посетителя начальнику отделения Грабченко. Старший лейтенант в это время, развалившись в кресле, дремал. Ворот белого кителя на нём был расстегнут. На его висках ещё не успели высохнуть ручейки пота, бежавшие через скулы к шее. Волосы были всклоочены, местами слиплись в колтуны. Глаза были воспалённые и непроизвольно закрывались. Он только что закончил на карусели 32-часовой допрос бывшего командира КУРа Суслова. Начальник отделения, подняв на Богданова красные воспалённые глаза, спросил:

– О Суслове что-нибудь знаешь? – и голова его тот час, подобно подрубленному кочану капусты, свалилась вперёд и набок.

Гость стоял, вытянувшись, думая уже о другом: «Зачем я сюда пришёл?» – однако, не робея, мобилизовал на помощь ясное сознание, что в подобных случаях так важно. Он давно убедил себя – правда должна торжествовать над ложью! Давая себе отчёт, что поступает правильно, смело сказал:

– Товарищ старший лейтенант, согласно процессуальному кодексу, я, как гражданин Советского Союза, обязан помочь следствию, изложив всё известное мне о бывшем командире батареи Химиче.

– О, вундеркинд! Спасибо. Благодарю, – Грабченко собрал оставшиеся силы, встал, шатаясь, взял стоявший у стены стул, подставил его Богданову.

– Садись, – сказал старший лейтенант.

Богданов сел.

Не садясь на прежнее место и не сводя с гостя пытливого взгляда, следователь изменил прежнее решение и пересадил краснофлотца ближе к своему столу. Сам, молча, тоже занял своё место в кресле за столом.

– А о Суслове ничего не знаешь? – вдруг спросил следователь вторично.

Богданов сидел спокойно, сопровождая смелым взглядом все движения Грабченко, смело ответил:

– Нет, я могу сделать показание только о Химиче.

– Молодец. Было бы больше таких как ты. Быстрее расправились бы с этой сволочной дрянью.

Богданов молчал, испытываяще продолжал наблюдать за начальником отделения. Ему казалось, что сидевший перед ним командир сию минуту закончил марафонский бег.

– Ну, давай о Химиче, – сказал следователь, продолжая осматривать гостя как какую-то вещь, понравившуюся на прилавке магазина.

Свидетель не торопился с рассказом, и когда начальник отделения готов был его слушать, спросил:

– Товарищ старший лейтенант, дело Химича ведёте вы или кто-то другой?

– А тебе зачем?! Я начальник отделения, – почти закричал Грабченко. Чёрные лохматые брови его сбежались и низко спустились на глаза. Рот сжался. Левая щека начала подёргиваться.

Богданов встал. И снова попросил разрешения объяснить, зачем он пришёл. Когда получил разрешение, он тихо принялся объяснять:

– Во-первых, вы не должны мне тыкать – мы находимся на службе. Причём в учреждении и не торговом, и не в коммерческом, в учреждении особом, где нормы отношения людей регламентированы законом. Во-вторых, вы должны взять дело Химича, взять бланк опроса свидетеля, занести в него мою фамилию, имя, в общем всё, что требуется в таких случаях, что требует процедура, и записать мои показания, я их подпишу и потороплюсь на батарею, так как срок моего увольнения уже истекает.

Монолог краснофлотца Грабченко терпеливо выслушал. То ли из-за симпатии к гостю, а всего вернее из-за усталости не перебивал его. Наконец, не повышая тона, промолвил:

– Значит, пришёл меня учить?

– Нет, зачем же? Я набрался смелости и напомнил азы уголовно-процессуального права, и вам, как начальнику, и себе, как свидетелю.

– Ты кто будешь?

– Я краснофлотец 78 батареи, батарейный писарь, товарищ старший лейтенант. На батарее веду журнал боевых действий, по профессии – юрист.

Грабченко долго думал, продолжая гипнотизировать стоявшего перед ним добровольного свидетеля. Лицо его постепенно принимало нормальный человеческий облик, успокаиваясь, он спросил:

– Хочешь, дам сигнал, сегодня же оформим, и завтра же приступишь у нас работать?

– Нет, не хочу, – спокойно ответил батарейный писарь, поясняя. – Остался ещё год службы. После демобилизации уеду в Москву на прежнюю работу в Министерство юстиции.

Грабченко недовольно сконфузился. Он понял – перед ним стоял человек грамотный, умный и настойчивый. В душе он его спокойствию, логическому мышлению завидовал.

Неожиданно открылась дверь – в кабинет вошёл тот же помощник дежурного.

– По вашему вызову, помощник оперативного дежурного по управлению прибыл! – доложил сержант.

– Этого друга, кивнул он в сторону стоявшего Богданова, – в предварилку. Пусть ждёт Чепака.

Из дежурной комнаты вели пять дверей. Центральная дверь – служебная, для сотрудников и доставки под конвоем подсудимых. Две правых вели в маленькие изолированные комнаты – это предварилки. В эти комнаты закрывались подсудимые, доставленные из тюрьмы и казематов и ожидавшие вызова следователями. И две двери – с противоположной стороны: одна вела в большую комнату-ожидалку для свидетелей, вторая – служебная – для конвоиров и суточного наряда.

Никто не может объяснить, почему шеф КУРа распорядился Богданова водворить в предварилку. Вероятно, действия и поступки свидетеля не понравились. Да что ему, этому грубияну-начальнику? Грабченко мог посадить в карцер без вины и родную мать.

НАЧАЛЬНИК ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ГРАБЧЕНКО

Старший лейтенант Грабченко Вениамин Маркович, 29 лет. Начал свою карьеру с первого курса артиллерийского училища с должности осведомителя. Вращаясь в курсантской среде, он клеветал и доносил на своих товарищей, все их недовольства и возможные несогласия

с бытовавшими порядками. После года службы командиром взвода на береговой батарее был послан на годичные юридические курсы сотрудников НКВД. Окончив их, пятый год работал следователем. В следственной работе показал себя настойчивым вымогателем признаний. За умение выявлять новых «врагов» год назад получил повышение по службе и стал начальником Третьего отделения, шефом Крымского Укреплённого района.

Он был высок, пропорционального телосложения. Чёрные брови и вьющиеся волосы дополняли приятную внешность. Недурные манеры вежливого обращения с дамами делали его обаятельным, располагающим к себе. Женщинам он нравился. На службе он становился совсем другим. Густые и широкие брови его почти всегда были нахмуренными. Карие глаза недовольно и зло сверлили всякого, кто сидел перед ним. Неизвестно от каких причин у него временами сжимались челюсти, искривлялся рот и часто скрипели зубы.

По малейшему недовольству он спускал трёхэтажную нецензурную брань. По пустякам он волю своим рукам не давал. Он бил обречённых методически и так изощённо, что жертва теряла сознание тот час.

Грабченко был женат. Жена растила дочь. В то лето она с дочерью четвёртый месяц проживала у родителей в Мелитополе. Семейная жизнь супругов Грабченко была непрочной, с глубокими изъязнениями, хотя и жила в материальном достатке.

Грабченко имели двухкомнатную квартиру, со вкусом обставленную дорогой мебелью. Причиной частых семейных ссор было поведение главы семьи. По любым пустякам он из нежного и любящего мужа и отца превращался в брюзжащего, деспотичного и всем и всеми недовольного человека.

Особенностью следственной практики старшего лейтенанта Грабченко было умение в разговоре с подследственным выявлять, с кем последний дружил, кого обожал, кого ненавидел и почему. За два часа он мог изучить все связи и взаимоотношения подследственного со всеми близкими и далёкими знакомыми ему людьми и родственниками.

В своей следственной практике Грабченко не опирался на улики, нет. Зачем? Да он и не понимал, что значит «уличить виновного в преступлении». Он обычно ссылался на уже якобы сказанное раньше подследственным или кем-то из людей, авторитет которых является безукоризненным. Его любимое изречение: «Вчера (или несколько минут назад) ты говорил так, а теперь уже передумал». Он доставал из ящика своего стола пучок полевого кабеля, собранного, как собирают бельевые верёвки, поднимался всей своей могучей фигурой из-за стола и с бычьей силой опускал на голову и спину сидевшего перед ним подследственного.

Грабченко придумал горбатый стул. Сидение у горбатого стула к середине плавно поднималось, образуя сантиметров в пять-шесть горб. Никто из жертв более пятнадцати-двадцати часов сидеть на таком стуле не мог: терял сознание. Когда подследственный, сидя на горбатом стуле, двигался вправо или влево, чтобы облегчить боль запечатанного гузна, Грабченко неистово орал:

– В карцер захотел? – и снова поднимался и бил тем же жгутом телефонного кабеля.

Грабченко усовершенствовал «карусель», изобретённую московскими следователями. Карусельный допрос был самым страшным и бесчеловечным в следственной практике тех лет. Его суть была в следующем.

Начальник отделения в помощь себе приглашал ещё двух-трёх следователей. Допрашиваемого усаживали на горбатый стул и поочерёдно допрашивали в течение двух-трёх суток без перерыва. При карусельных допросах за портьеры ставили несколько человек рядовых солдат. Когда подследственный терял сознание и падал, рядовые приводили его в чувство, поливали водой и шлёпали по щекам. Когда подследственный, не стерпев обиды, поднимал кулак против следователя, из-за портьеры выскакивали те же рядовые. Они жертве скручивали руки и с высоты груди бросали на пол, от чего подследственный тоже терял сознание.

Расчёт делался на физическое и нравственное истощение воли подследственного. Не все были способны вынести подобное глумление. Слабые сдавались и подписывали на себя ложные признания, что было равносильно подписи смертного приговора.

После подписи протокола подследственный становился обречённым. Хотя полностью не каждый понимал совершённое и, конечно же, не все знали, что их ждёт завтра, а, возможно, и через несколько минут.

Но старший лейтенант Грабченко знал. Он самодовольно усаживался в кресло, вытирал потное лицо, вызывал помощника дежурного по управлению и спокойно приказывал: «Уведите подследственного, и за мой счёт – завтрак». Давали два бутерброда с колбасой и стакан сладкого чая. В такие минуты Грабченко становился добрым. Ибо уже сколько раз – не счесть, когда ему при начислении зарплаты дополнительно прибавляли к окладу ещё 150 рублей за каждое «успешно» оконченное дело, точнее за каждую жизнь, отправленную на смерть. Были месяцы, когда дополнительные начисления превышали его оклад.

Шёл четвёртый час как краснофлотец Богданов томился в предварилке. В эти небольшие комнаты с одним плотно задраенным окном не поступал свежий воздух. Решётки из толстых прутьев изнутри прикрывались стальной сеткой. В отверстия сетки не пролезал мизинец. Разбить стекло было невозможно. Подследственные находили лишь единственный выход: ложились грудью на пол и дышали воздухом, который мог поступать через узкую щель между низом двери и порогом. Богданов, задыхаясь, начал стучать в дверь. Подошёл дежурный, открыл дверь и грубо спросил:

– В чём дело?

– Почему вы меня закрыли в комнату подследственных? Я свидетель!

– Такое было распоряжение начальника, – последовал категоричный ответ.

– Какое он имел право отдавать подобное распоряжение?

Дежурный, не сказав ни слова, снова захлопнув дверь.

В 18:00 в управление прибыл следователь лейтенант Чепак. Узнав о краснофлотце, который его ожидал, он приказал открыть дверь предварилки. При виде измученного и побледневшего краснофлотца лейтенант Чепак спросил дежурного:

– Почему свидетель в предварилке?

Дежурный ничего не прибавлял, объяснил всё в точности, как было. Чепак деликатно заметил:

– Дежурный назначается не только, чтобы выполнять приказания начальников, он также обязан согласно инструкции сам принимать правильные решения, не допуская нарушений законов. Справедливый упрёк Чепака дежурному подействовал на свидетеля одобряюще. Ещё не развращённый честный юрист Богданов почувствовал, что не все подлецы. Есть в НКВД и порядочные люди.

Чепак пригласил свидетеля, и они вместе пошли в следственную комнату.

ЛЕЙТЕНАНТ ЧЕПАК ХАРИТОН ЯКОВЛЕВИЧ

Чепак – украинец, в возрасте около пятидесяти лет. Родился в семье дворянского происхождения. Высокий, сухой, постоянно спокоен и уравновешен. В 1914 году окончил юридическое училище, дававшее высшее специальное образование. Два года работал в следственной камере уголовного полицейского участка Харькова. После Октябрьского переворота отошёл от своей профессии, стал торговым служащим.

В 1918 году по призыву РКП (б) дал подписку честно трудиться в интересах молодой Советской республики. В 1919 году в борьбе с контрреволюционным саботажем участвовал в раскрытии ряда враждебных советскому строю заговоров в Харькове. В ЧК, а затем в ГПУ он проработал до 1933 года. Потом ему, как бывшему, перестали доверять. «Вы слишком либеральны и гуманны к врагам Отечества. Не подходите нам. Молодые кадры лучше», – разъяс-

нили ему перед увольнением. Он не возражал. Принял увольнение достойно и приступил работать следователем в Севастопольский отдел милиции. В 1937 году в связи с кампанией чистки армии и флота он снова был приглашён в НКВД следователем.

Чепаку давно пора было быть майором, если не полковником. Причём, он этого заслуживал. Но его, как бывшего, притормаживали. Между прочим, своим положением он нисколько не тяготился. Ни перед кем не выслуживался, работал спокойно. В своей практике опирался только на законы и на извлечения из них.

Краснофлотец Богданов и лейтенант Чепак нашли общий язык. Показания батарейного писаря были тщательно запротоколированы. Показания эти были важны для следователя и особенно для подследственного Химича. Они помогли обвиняемому доказать свою невиновность, а следователю безошибочно квалифицировать наговор Сметона, и вообще оказаться в курсе дел на батарее и взаимоотношений командира с политруком.

Лейтенант Чепак, как человек политически грамотный, с большим опытом следователя, честный и порядочный, ставил своей целью не только обвинять, как тогда было принято, но и выполнять действительные обстоятельства виновности или наоборот – невиновности подследственного. Чем он Химичу полюбился, а Грабченко не нравился. Не нравился он и всем тем, кто ставил перед собой цель – засудить человека, выдумывая ему провинность.

БЫВШИЙ КОМИССАР ВЯТЕЦКИЙ

Наступал четырнадцатый день заключения Химича. В полдень открылась дверь камеры. Вошёл человек в малиновой форме.

– Фамилия? – показал он рукою на Мстибовского.

– Твоя? Твоя? Твоя? – тыкал он пальцем энергично всем по очереди, продолжая отыскивать нужную.

– Ты кто? – заметно выражал неудовольствие отсутствием желаемого арестанта.

– Твоя фамилия? – продолжал он находить в массе уже шестнадцати человек, согнанных в камеру.

– Ты! Ты! – орал он. Нескоро нашёл он на нарах лежавшего Химича. – Выходи!

Химич вышел.

– Руки назад! – бывший командир медленно занёс руки назад.

– Вниз по лестнице марш!

На тюремном дворе уже стоял «Чёрный Ворон» с открытой дверью.

– Заходи! – командовал всё тот же конвоир.

Когда Химич влез в кузов, конвоир сильно захлопнул дверь и закрыл её на замок. Взревел мотор, и «Чёрный Ворон», вероятно, покатиł вниз по улице Восставших.

Когда бывшего командира ввели в дежурную комнату, помощник дежурного снял телефонную трубку, коротко сообщил:

– Прибыл.

Спустя секунду он повторил:

– Есть! – и положил трубку на рычаг, подбежал к двери одной из предварилок, рывком открыл её, посмотрел вовнутрь и тот час захлопнул её. Открыл дверь второй предварилки – так же, как и первую, окинул взглядом, повелительно сказал, отступая в сторону.

– Заходи!

Химич быстро вошёл.

В маленькой комнате стояла изнурительная духота. Слева, опёршись спиной о стену, сидел на полу уже немолодой человек. Химич незаметно сосчитал срезанные на рукавах нашивки – их было четыре. Между ними, как он мог определить, не было цветных просветов. «Значит, из плавающих», – пришёл к выводу Химич. Четыре средних носили командиры полков и командиры, и комиссары кораблей второго и первого рангов.

– А я вас узнал, – неожиданно сказал сидевший на полу бывший командир. Зенитчик, обрадовавшись, опустил глаза на сидевшего, но всё ещё молчал и продолжал рассматривать случайно встретившегося человека и никак не мог вспомнить, где он с ним мог встречаться.

– Не можете вспомнить, где вы меня видели? – неожиданно спросил сидевший на полу человек. – Вспомните, в апреле этого года с командиром третьего дивизиона вы по башням главного калибра лазали.

Химич мгновенно вспомнил. Это был комиссар линейного корабля «Парижская Коммуна» Николай Николаевич Вятецкий.

Когда встретившиеся арестанты взаимно убедились, что им нечего друг друга бояться, возник душевный разговор.

– Вы-то за что, товарищ комиссар? – усаживаясь на пол против Вятецкого, интересовался бывший командир батареи.

– Я за что? – с удивлением переспросил он. – Мне пятьдесят четвертый год. Я четырежды судим царским правосудием. Дважды отбывал ссылку и столько же раз бежал из ссылки. Участвовал в свержении царя, в Октябрьский переворот арестовывал в Зимнем временное правительство, активно выступал в период дискуссии. Представляете, сколько я мог на себя наговорить? Тугодумов, молчунов, заурядных НКВД не арестовывает. Арестовываются самые активные и преданные Родине люди, – не делая паузы, он с эмоциональной приподнятостью продолжал. – Нет, я не за Троцкого и не за Бухарина с Зиновьевым, я ленинец. Я не согласен со многими концепциями Сталина, проводимыми им как внутри страны, так и во взаимоотношениях нашего государства с капиталистическими странами. В моём понимании многие поступки Сталина и его окружения авантюристичны. В состав ЦК и своего окружения Сталин подобрал людей в интересах не Отечества, а личной преданности, от чего правительство, состав руководящих органов, возглавляемый им, малограмотны, а многие и непатриотичны. Его подчинённые, чтобы удержаться на занимаемых должностях, холуйски угодничают ему, не давая отчёта о пользе народу. В вопросах социалистического строительства Сталин решил достигнуть многого вмиг, в два-три года. В международной политике ведётся никому не нужная травля врагов. Безусловно, фашизм – злейший враг социализма. Его нужно ненавидеть. В этом же духе следует воспитывать и наших соотечественников, чтобы они его тоже ненавидели и злее дрались, если он позволит поднять против нас оружие. Но бессмысленно травить врага. Ой, как глупо. Чем больше пса дразнят, тем он злее становится.

– Тише говорите, ведь могут подслушать, – от чистого сердца предупреждал бывший командир батареи.

– А я своих убеждений не скрываю. Я говорю открыто. Я не трус и не политикан. Я – политик, убеждённый в ленинизм.

Химич вспомнил, как ранней весной он пригласил командира третьего дивизиона линейного корабля «Парижская Коммуна» Веревитина к себе, на 78 батарею, где познакомил со своими методами стрельбы. Спустя несколько дней, Веревитин пригласил Химича на линкор, чтобы ознакомить береговика с особенностями стрельбы на кораблях.

После экскурсии их обоих пригласил в свой салон комиссар корабля и угостил командиров чаем с клубничным вареньем. За чаем Николай Николаевич уговаривал лейтенанта Химича проситься продолжать службу на корабле «Парижская Коммуна». Комиссар линкора говорил серьёзно, так как командир Веревитин по решению командующего должен был принять командование эсминцем.

Химич соглашался, честно признаваясь, что аттестации у него неплохие, а вот политическая характеристика будет дана Ткаченком самая отрицательная, «с которой вы меня не возьмёте», – убеждал зенитчик. Вятецкий добродушно рассмеялся:

– Дорогой мой лейтенант! Я вас с удовольствием возьму. Приходите, будем работать, а вашу характеристику я даже не стану читать. Человек меняется в труде. В вашем патрио-

тизме и преданности Отечеству я не сомневаюсь, всё остальное для меня – пустяки. Если вы даже и были вчера в чём-нибудь плохи, то уже сегодня можете стать лучше любого другого «красавчика». Я с командирами, которые не нравились политработникам, прошёл всю Гражданскую войну. Да ещё, с какими успехами! Дважды награждён орденом Красного Знамени. Таких счастливичков, как я, были единицы. Нет, не подумайте превратно, я счастливчик не в обывательском понимании, я честно служил революции и легко побеждал потому, что мне помогали такие, как вы!

Это он говорил тогда за стаканом чая, будучи убеждённым, что Химич его понимает правильно и придёт на корабль. Теперь же он только по убеждению остался прежним, в остальном – сильно изменился. Постарел, выглядел измученным и как все арестованные – бесправным.

– Николай Николаевич, – обратился Химич еле слышным голосом. – Вы не жалеете себя, могут же засудить.

– А я уже знаю свою участь – меня расстреляют. Я всё, что от меня хотел НКВД, подписал. Сегодня, вероятно, будут незначительные уточнения. А затем пятиминутный суд и прощание с жизнью. Приговор, наверное, уже заготовлен.

– Как же так? Мне вас жалко. Вы ещё могли принести пользу плоту и стране.

– Дорогой молодой человек, – он несколько раз наклонился вперёд, задумываясь, продолжал медленно, выговаривал каждое слово со вздрагиванием губ. – Головы уже полетели у людей более заслуженных, чем я. У людей, которые своей кровью добыли советскую власть. Об Антонове-Авсеенко слышали когда-нибудь?

– Да, конечно, помню из истории. Он, если не ошибаюсь, с Подвойским арестовывал временное правительство. Если память не изменяет, слова: «Которые тут временные, кончилось ваше время», – принадлежат ему.

– Совершенно верно. Он и Подвойский возглавляли отряд матросов. В этом отряде был и я. К вашему сведению, Антонов-Овсеенко уже расстрелян. – Вятцкий низко опустил голову, часто и тяжело дышал.

– Так что же это делается? – в горести, рассуждая, спрашивал Химич.

– Вот этот вопрос ты, товарищ, ставишь правильно! Когда-нибудь разберутся и опомнятся, но нас уже не будет. Этими днями НКВД ожидает директиву. Сроки наказания увеличат примерно вдвое.

– Это как понимать? Новый уголовный кодекс будет принят?

– А зачем он НКВД? Разве органы когда-нибудь придерживались кодексов? Сталин считает, что сроки, к которым приговариваются заключённые, малы. Вот и увеличат их вдвое, – он поднял глаза и ткнул легонько бывшего командира батареи в грудь пальцем, но улыбка не получилась. Насильственное лишение людей жизни всегда было грустным и для большинства трагичным.

– Сроки увеличат для таких, как ты, – продолжал комиссар, – а для таких, как я – путь один. Он указан в первом письме Сталина: всех, кто выступал на дискуссии против него – уничтожить. И вот нас потихоньку уничтожают.

– У нас в камере Пидопрыгору осудили за то, что он повесил на портрет Сталина лапти.

– Вот-вот! Будут давать пятнадцать лет.

Химич всматривался в благородные черты лица ещё не старого человека. Несмотря на духоту в предварилке, он жестикировал, энергично двигал головой, помогая более точному выражению своих мыслей. Глаза его не были потухшими. Ясность мыслей сохранилась логичной. Только на лбу и у края рта появились морщины, да виски сильно посеребрились.

Когда зенитчик был у него гостем, он не только слушал комиссара, но и учился у него. Прислушивался к его незаурядным знаниям линейного корабля, который он знал, как казалось бывшему командиру, лучше любого строевого командира.

– Николай Николаевич, а вы убеждены, что Сталин знает, что сейчас делает НКВД?

– А как же, – убеждённо ответил Вятецкий. – Ему ежедневно докладывают.

– И такое огромное количество арестованных его не пугает?

– Что вы! Сталин груб, деспотичен и мстителен. Об этом Ильич писал и предупреждал партию. Но окружение, его ставленники сохранили Сталина у власти. Этим и следует объяснить его уверенность и жестокость с несогласными с его политикой. Поймите, – продолжал Вятецкий, – история не знает подобного массового уничтожения тысяч и миллионов невинных перед Родиной людей. Причём он уничтожает не только тех, кто выступал против него, но и тех, кто помогал ему удержаться у власти. Это страшный человек!

Чувствовалось – бывший комиссар устал. На минуту разговоры прекратились, каждый думал о своём.

Ещё вчера Химич был убеждён, что Сталина восхваляют справедливо. Сегодня он спрашивал себя о другом: кто всё же виновен в трагедии советских людей, переживающих одну голодовку за другой и массовые истребления честных и невинных граждан – Сталин, или те, кто его поставил генеральным секретарем и поднял его авторитет до непогрешимости, до высоты царя и Бога?

В предварилке стояла страшная духота. Бывший командир лёг на бок, опустил голову, чтобы дышать поступающим воздухом через щель под дверью. Наклонился и Вятецкий. Теперь их головы оказались рядом в десяти сантиметрах. Безмолвие нарушил Химич – он спросил шёпотом:

– Товарищ Вятецкий, с какого вы года в партии?

– Вступал в годы «чёрной реакции» в 1906 году двадцатидвухлетним мальчиком.

– Тогда тоже столько революционеров арестовывало царское самодержавие?

– Я вам уже говорил: никогда и никто так безжалостно не расправлялся со своими соотечественниками. К тому же, сейчас арестовывают и расстреливают ни в чём не повинных людей. Арестовывают за полезные мысли, за ошибки, за неумение дословно повторить сказанного Сталиным. Ведь тогда я был виновен перед самодержавием. Да, да – я распространял прокламации, агитировал рабочих брать оружие в руки и использовать его против царя буржуазии и помещиков, призывал оказывать неповиновение царским чиновникам. Я действительно был врагом самодержавия. А вы? – спросил он смотревшего в пыльный пол командира.

– Ну что вы, я молился на правительство, на партию, считал их своими, как мать родную, родными.

– Вот видите, вместо благодарности, вас посадили в тюрьму.

Неожиданно открылась дверь. Открывший дверь дежурный догадался о разговоре арестантов.

– Выходи! – дежурный не показывал пальцем, не называл фамилии. Смотрел на Химича зло и категорично.

Вскоре зенитчик вошёл в кабинет следователя лейтенанта Чепака и сказал: «Здравствуйте!». Чепак не ответил. Предложил сесть. Записав всё, что положено, для установления личности, он положил перед бывшим командиром батареи постановление с предъявлением обвинения.

В постановлении указывалось, что Химич обвиняется по статье 58 пункт 11 и пункт 8. Подследственный расписался и спросил, что означают пункты статьи.

– Вы обвиняетесь в принадлежности к контрреволюционной партии и в подготовке террористических актов против вождей партии и правительства. – Заметив сильное волнение подследственного, Чепак успокоил его вопросом. – Когда вы были курсантом, вы деморализовали своих товарищей, заявляя: «Если нас пошлют в действующие боевые части, защищающие Родину на КВЖД, то с единственной целью, чтобы в первые же дни боёв из нас получить вонючее пушечное мясо».

– Когда мы были курсантами, на многих из нас доносил и лгал провокатор Лобзов. Всё, что вы прочли, он сам выдумал. Это он говорил, что нас могут послать на пушечное мясо, выпрашивая у меня и моих товарищей согласия с ним. Что я ответил – не помню, соглашался с ним или возражал ему. Да вы и не можете всерьёз принять разговоры, вызванные провокационным методом осведомителя, – редакция этого ответа пришла к Химичу не сразу, а после дней/ночей, за которые он сумел приготовить десятки вариантов. Один из них Чепак и записал.

– Вы говорили товарищам, что написанное в газетах нужно осмыслить и сравнить с действительностью, так как между написанным в газете и правдой в жизни расстояние большее, чем от Земли и Луны. Как это понимать?

Подобного вопроса подследственный не ожидал. В его сознании возник рой мыслей. Он отвёл глаза в сторону, по коже поползли мурашки. Стало душно. Время шло, но подследственный сказать что-либо не мог. Наконец, начал вспоминать свои поступки и действия, успокоившись, принялся рассказывать:

– Я не мог кому бы то ни было говорить, что в газетах пишут ложь. Я всегда верил написанному в книгах и газетах. К этому призывал своих товарищей. Этому учил вверенных мне подчинённых краснофлотцев и командиров.

Следователь Чепак без единого замечания дословно записал ответ, сформулированный подследственным.

– Вы заявляли старшему политруку Малюку, что «докладом товарища Сталина стрелять не будешь». Как вы могли прийти к такому выводу?

– Старший политрук Малюк лжёт. Я сказал, что докладом товарища Сталина нужно руководствоваться, а стрелять людей нужно учить, кропотливо и ежедневно следует учить. – Однако следователь с ответом не соглашался. Следователь требовал подписаться под редакцией: «Докладом товарища Сталина стрелять не будешь, потому что доклад не содержит в себе смысла для обучения и воспитания военнослужащих». Четыре часа вёлся торг. Чепак настаивал на своей формулировке, а Химич не желал менять своей, так как она была такой, которая имела место при ссоре с Малюком.

После десятичасового допроса с часом перерыва для следователя Химич подписался под ответами на первые два вопроса. Под третьим вопросом ответ записан не был и подпись допрашиваемого отсутствовала.

Бывший зенитчик возвратился в тюрьму поздно вечером. Чечелашвили в камере не было. Он был вызван на допрос тотчас после ухода из камеры Химича.

Возвратившись с допроса, лейтенант сидел на цементном полу мрачный.

– От чего приуныл? Почему не радуешься жизни, детина? – с издёвкой спрашивал Сидоров.

Химич молчал. «До шуток ли, – задумывался бывший командир. – Надо же выдумать: «Террор против вождей партии и правительства»». Эту формулировку зенитчик успел повторить не менее тысячи раз с тех пор, как расписался под предъявленным обвинением. Задумываясь и мрачняя всё больше, бывший командир батареи принялся рассказывать обо всём, что происходило в следственной комнате. Все умолкли, внимательно слушая созданное дело товарища.

Первый с догадками выступил Крижжановский. Он убеждённо сказал:

– Вы не удивляйтесь и не расстраивайтесь. Они предъявленное обвинение ещё не раз переквалифицируют, – своё мнение Крижжановский подкреплял многими примерами. Это успокаивало бывшего командира. Он постепенно приобретал силы и уверенность.

– Скорее всего, вас будут мучить вокруг статьи 58 пункт 10. Обвинить честного человека в контрреволюционной агитации и пропаганде легче, – высказывал предположение опытный тюремщик Сидоров.

– Не думаете ли вы, что кому-нибудь дали в зубы, не подозревая, что этот человек окажется сотрудником. Вот вам и террор, – неожиданно для Химича Крижжановский высказал новое предположение.

– Так, а разве осведомитель – тоже вождь? – недоумённо спросил зенитчик и, кусая губы, уже сожалел, что задал вопрос, разглашающий его неосмысленные поступки в прошлом.

– Вот тебе, матушка, и Юрьев день, разве вы не знали об этом?

– Набей морду любому гражданину – дадут два года. Год отсидишь, год простят за прилежное поведение и выпустят на волю. Попробуй избить следователя – дадут восемь лет, а то и расстреляют, – товарищи высказывали самые невероятнейшие суждения, не исключавшие и действительных. Да в нашей стране равенства людей перед законом не существовало.

Активный разговор неожиданно был прерван. В камере появился конвоир и увёл на допрос Крижжановского. Химичу пришла очередь лечь на нары. Зенитчик закрыл глаза и долго думал о курсантских днях, когда он дружил с Лобзовым, когда Лобзов его познакомил с двумя гражданскими парнями, проживавшими на Лазаревской улице.

Жили парни вместе, работали оптиками на Калиматорных мастерских, ремонтировали дальномёры и стереотрубы с кораблей и береговых батарей. Работа в мастерских не подлежала разглашению.

Когда Химичу подсказали товарищи, что за ним шпионит Лобзов, он сказал об этом гражданским товарищам. Они были удивлены и вскоре почувствовали, что Лобзов, вероятно, с ними говорил тем же языком, за что одного из них уже вызывали в спецчасть мастерских и предупредили его за разговоры о служебной деятельности с посторонними. Вскоре вызвали и второго и тоже серьёзно предупредили о разглашении военной тайны, угрожая увольнением.

Химич всё понял, однако просил товарищей не торопиться и продолжать с Лобзовым дружбу, пока не выяснятся все стороны его действия.

В спецчасти Училища зенитной артиллерии делопроизводителем работал друг курсанта Алексея Иванова. От него Иванов узнавал все записи на своих товарищей. Химич был в товарищеских отношениях с Ивановым. И когда однажды Иванов сообщил Химичу, что ему записали в личное дело что, «если их, мальчишек, пошлют в действующую армию на КВЖД, то в первом же бою враг из них сделает пушечное вонючее мясо», – Химич в мгновение оказался потрясённым, ему пришла в голову дерзкая мысль. Он в тот же вечер перемахнул через забор на Лазаревскую улицу к гражданским друзьям.

Товарищи выслушали курсанта Химича, внимательно и быстро переосмыслили все пакости, которые Лобзов успел причинить десяткам невинных товарищей. Решили через два дня в воскресенье встретиться с Лобзовым за памятником Третьему Бастиону.

В воскресенье после завтрака Химич сообщил Лобзову, что за Третьим Бастионом в балочке его ждут друзья, имея что-то важное сообщить.

Лобзов вышел через южные ворота в приподнятом настроении. За памятником он медленно спустился в балочку, где и встретился с друзьями.

Друзья предложили Лобзову спуститься немного ниже к оврагу, чтобы их никто не видел. Земляк с Лобзовым шёл рядом. Местный житель чуточку отстал, выбрал момент и с максимальной силой ударил Лобзова в правое ухо.

От неожиданности и сильного удара осведомитель свернулся в волчок. Его земляк из Днепропетровска добавил ему под рёбра сапогом. Лобзов покатился под гору. Под конец свалился с высокого обрыва на дно оврага.

На этой местности всюду выступали из земли острые камни древних известняков. Осведомитель, катясь по ним и падая на них с обрыва, сильно поранился. К вечеру с трудом он добрался до ворот училища. Заметивший его дневальный у ворот сообщил в санчасть. Санитары подобрали его и отнесли в лазарет.

На следующий день на курсанта Химича было заведено уголовное дело. Он обвинялся в зверском избиении курсанта Лобзова.

Дело вёл преподаватель училища. Тот, который читал курсантам «Администрацию».

Уважаемый всеми курсантами преподаватель на своих лекциях убеждал курсантов: «Если вы не совершали преступления, можете спать спокойно. Наши справедливые из всех справедливейших органы не допустят ложного обвинения и ошибочного осуждения». Что ж, в том случае всё обстояло именно так.

Почему Лобзов укрывал действительных обидчиков – можно объяснить только трусостью. А вот как могли прекратить дело следствием, если избиение – есть факт неопровержимый, подтверждённый фактом медицинской экспертизы, Химичу не суждено было знать.

По делу было опрошено свыше десяти курсантов. Все они как один подтвердили, что Химич в течение дня из казарменного расположения не отлучался. Да, показания товарищей были правильными.

И всё же в спецчасти училища поверили Лобзову, и Химичу в характеристику дописали: «Из мести осведомителя Лобзова зверски избил».

Вероятно, избиение Лобзова и было основанием предъявить Химичу обвинение в терроризме.

Оказавшись в уединении на нарах, Химич обдумывал все возможные варианты тщательно и долго. Вскоре пришёл к единственному выводу: «Об избиении Лобзова ни в камере, ни на следствии не говорить».

Спустя два дня поздно ночью открылась дверь камеры, два дюжих молодца на носилках внесли полуживого Чечелашвили. Борт его кителя был оторван, левый рукав тоже висел на нитках. Весь китель был мокрым и окровавленным. Дюжие молодцы приказали освободить на нарах место. Как полено, один конвоир взял за руки, другой – за ноги, бросили грузина на освободившееся место.

Пётр Георгиевич ни о чём не просил. Глаза его были закрыты, нос закупорен сгустками крови. Дышал он тяжело, часто через открытый рот, поминутно всхлипывая так, как бывает после сильного потрясения и плача навзрыд. Без слёз, без движения с мертвецки бледным лицом он лежал на спине, и если был в сознании, мог проклинать всё, и саму свою несчастную жизнь.

Соседи по нарам решили дать Чечелашвили глоток воды. Приподняли его голову. Он проявил признаки жизни, напряг силы, взял воду. Но вода в пищеводе остановилась, а затем и возвратилась обратно с кровью.

Созерцая несчастного человека, все приуныли и опечалились. К горлу подкатывалась горечь обиды. Рождалось озлобление и ненависть. Все задумывались об одном и том же: что ждёт его в дни будущие?

Вскоре бывший лётчик уснул. Засыпали и те, чья очередь лежать на нарах. Четыре человека дремали, сидя на каменном полу.

Когда Грабченко прочитал показания свидетеля Богданова и протокол допроса подследственного Химича, пришёл в бешенство. Не теряя ни минуты, приказал вызвать в управление в качестве свидетеля нового командира батареи Сметона.

Сметон явился к Грабченко с трубочкой во рту. Улыбаясь, он сел на предложенный начальником отделения стул, премного благодаря за уважение. Грабченко не счёл нужным прочесть свидетелю статью из кодекса, которую полагалось зачитывать и за ложные показания предупреждать. Зачем? Он сказал Сметону прямо и определённо:

– Наша с вами задача – этого мерзавца скрутить в бараний рог.

Сметон улыбнулся и одобрительно кивнул головой.

– У меня такое же желание, – продолжая улыбаться, присоединил своё мнение Сметон.

– Вот и хорошо, это по-партийному, – Грабченко точно на морозе потёр ладони и с юношеским задором всматривался в красные, как у судака, тревожно бегавшие глаза свидетеля, вероятно, соображая: «Сколько же он в такую рань успел выпить?»

Сметон рассказал всё, что ему стало известно от Малюка. Когда запас чужой лжи он высказал полностью, решил, не задумываясь, по привычке с детства, выдумывать и лгать от себя лично.

– Кажется, нет «Плана боевой подготовки штаба Черноморского флота». На первое полугодие есть, а вот на второе – я ещё не нашёл. Я поищу. – Он бессовестно промолчал, что есть акт, в котором не значится недостача документов.

– Это же серьёзнейший вопрос, – в приподнятом настроении торопливо заметил Грабченко. Он от радости отказался что-либо спрашивать ещё. Ничего не уточнял. Зачем? Сказанного вполне достаточно, чтобы человека расстрелять, и за его голову получить 150 рублей.

Сметон сказал: «Кажется, нет». Грабченко записал в протоколе как и следовало следователю-палачу: «В сейфе с секретной перепиской не оказалось «Плана боевой и политической подготовки штаба Черноморского флота на вторую половину 1937 года». Сметон, как оловянный солдат, подписал. Расставаясь, они пожали друг другу руки, взаимно пожелали успехов и не забывать дружбу.

Незадолго до рассвета Чечелашвили начала трясти лихорадка. Лицо и шея его стали чёрными. Губы и нос посинели. Нужно было накрыть и согреть человека. Но чем? Все были полетнему одеты. Только у Недюжего, как у тюремщика опытного, оказалось тёплое полупальто. Нары были голыми. Одели Чечелашвили в полупальто.

Прошло два часа, как вызвали врача к Петру Георгиевичу, но он не торопился с прибытием. На повторный стук в дверь надзиратель угрожал карцером.

С рассветом приступ малярии у Чечелашвили прекратился. Измученный палачами человек встал, поблагодарил товарищей за помощь, справился, выпил несколько глотков воды. Ему дали две порции хлеба, собранные за два дня. Бывший лётчик начал медленно и болезненно жевать.

Чечелашвили допрашивали на карусели в течение 32 часов. Вся спина и грудь его были исполосованы телефонным кабелем. Таким же, как при допросах Грабченко, Морозов и Цукерман били всех подследственных. На его допросе особой жестокостью отличился начальник второго отделения Морозов, шеф авиации Черноморского флота.

– Вы только подумайте, – начал Пётр Георгиевич рассказывать медленно и тихо... Он с трудом проглатывал отщипнутые кусочки хлеба. Между слов клал в рот новые, периодически жалуясь на сильную боль во рту и пищеводе.

Рассказ был прерван: загремел засов. В открывшуюся дверь вошёл среднего роста толстый с круглой головой человек. В его руках ничего не было. По измятому, давно не бритому и не мытому лицу чувствовалось, что он только что проснулся. Его включенные волосы торчали во все стороны, руки были покрыты густой рыжей шерстью, которая поднялась от утренней прохлады и торчала, как у питекантропа в начальный период очеловечивания обезьяны, с тем лишь отличием – у человека-дикаря руки служили средством добывания продуктов питания и всегда что-то делали, у тюремного врача – всегда были пустыми и бездейственными. В общении с подследственными он позволял такие же грубости и ненависть, каким пользовались все следователи и тюремщики.

– Кто вызывал? – повышенным и недовольным голосом спросил тюремный врач.

– На сей раз человек умер без помощи смерти, – объяснили арестанты хором.

– Ну и хорошо, одним врагом станет меньше, – сказал самодовольно человек с круглой головой. Повернулся и мгновенно исчез за дверью.

Бесполезно было жаловаться и просить о чём-либо этого тюремного борова. В его руках никогда не бывало простого бинта, ампулы йода, которые, как известно, носят все врачи. Ходил

он всегда с пустыми руками. Никто, даже те, кто сидел по году и больше, никогда не видели в его руках фонендоскопа. Сердце он прослушивал прикладыванием уха к груди больного. Всех, даже и тех, кто через несколько дней умирал, он оценивал с крепким здоровьем. Назначение этого человека было совсем другое, чем принято считать на свободе. В тюрьме его работа сводилась не к помощи больному, наоборот, удостоверению наступившей смерти после расстрела. Без его подписи акт о приведении приговора в исполнение считался недействительным.

После короткого перерыва Чечелашвили продолжил рассказ:

– Морозов мне говорит: «Ты шпион!». Я возражаю: нет, говорю, я не был шпионом и никогда не буду. Ты докажи, говорю, потом будешь меня оскорблять. «А тут написано, что ты шпионил, готовил чертежи прицела для посылки в Италию». Морозов показывал на три объёмистых папки. Видимо, в одной было моё дело, в двух других – дела двух других подследственных. Он все три папки выдавал за тома по моему делу. Откуда, думаю, столько бумаг могли собрать?!

«Вот твоя переписка с Бумталь», – продолжал он показывать на папку. Кто такая Бумталь, спрашиваю. «Не знаешь? Твоя сестричка Кето». «Я знаю Кето Чечелашвили. Бумталь я не знаю, отказываюсь что-либо о Бумталь говорить». «Уже забыл?» – он силой перетянул меня жгутом кабеля. Я сдержался.

«Значит, ты уже и Кето забыл? – орал он, и снова ударил меня проводом по голове и спине. – Она в письмах тебе писала шифром. Мы уже раскодировали его».

Что я мог сказать? Сижу, молчу. Вдруг – прозрение, и я спросил: «Какой мерзавец мог выдумать такую ложь? Никаких шифров не было. Это была семейная переписка». Он несколько минут походил по комнате, не оставляя меня без своего внимания. Затем сел на прежнее место и снова спросил: «Признаёшь себя виновным, что тебя завербовала Бумталь и ты стал шпионом в пользу Италии?» – уж в который раз он задавал этот вопрос и я, сдерживаясь, спокойно ответил: «Гражданин следователь, я уже сто раз сказал, что не был шпионом». Тогда он встал, вышел из-за стола и начал меня бить по голове, по спине, как собаку, которая проштрафилась перед хозяином. Было очень больно. В глазах зажигались огни. Я рассвирепел тоже, вскочил со стула и закричал: «Морозов, ты шпион! Ты, ты, ты! Ты – враг народа!» Он продолжал бить. Я упал. Он схватил меня за ворот, снова посадил на горбатый стул и опять ударил чем-то тяжёлым. Я потерял сознание и не помню, что было дальше. Когда ко мне возвратилось сознание и я поднялся, он подошёл вплотную и ударил меня кулаком в висок, я упал и заплакал, он ещё ударил ботинком в грудь, затем в поясницу. Мне стало очень больно, и я снова потерял сознание. Кто-то полил на меня воду, поднял и посадил на тот же горбатый стул. Когда я обрёл человеческую возможность сидеть, Морозов снова начал:

«Вот что – признавайся, и мы тебя отпустим. Как честно признавшегося тебя выпустят лет на пять. Через пять лет вернёшься в Грузию».

«Я говорил раньше и говорю сейчас – я человек честный. Клянусь памятью матери и своей жизнью. Я не был шпионом! Это ошибка или злой наговор. Ваша обязанность – честно поступить и разобраться».

«Так здесь же всё написано», – он снова показал на папки.

«Что там написано? Там ничего не может быть написано про меня плохого. Вы обязаны доказать, что я шпион. А чтобы доказать – нужны улики. У вас их нет, и не может быть, ибо из ничего не может возникнуть что-то. Я протестую: вы меня оскорбляете, называя шпионом. Я не был шпионом».

Морозов снова взревел:

«Ах ты, скотина! Долго ты ещё будешь отпираться? Всё равно, гад, расколешься», – он выругался длинной нецензурной бранью, в которой оскорбил мою покойную мать. Я проследился и стал зверем. Как только он начал бить меня жгутом кабеля, я вскочил, схватил горбатый стул и ударил бы его, но сзади набросились люди, скрутили мне руки, высоко подняли

меня и бросили на пол. Не знаю, чем-то били. Сколько я ещё лежал – не помню. Что было ещё – тоже не помню.

Пришёл в сознание в предварилке. Никого не было. Я долго стучал, но дверь никто не открывал. А когда открыли, сказали «выходи», снова отвели к Морозову и посадили на прежний стул. И всё снова повторилось, что было раньше. И так в течение полутора суток три раза.

Чечелашвили обвиняли по предположению. Ему мстили за приёмную сестру, которая изменила Родине и не пожелала возвратиться в Грузию. А ведь следовало, прежде всего, наказывать тех, кто опекал девушку и Италии. Тех, кто её посылал туда.

Думать о том, что Кето в Италии стала шпионкой и завербовала своего сводного брата, не менее абсурдно, чем предполагать, что в Италии морозы могут быть сильнее, чем в Восточной Сибири. Кето стала выдающейся певицей, много получала денег. Часть этих денег она и присылала семейству Чечелашвили. Ведь это было её священной обязанностью перед приёмными родителями.

Бомбардировщик «Дорнь-Валь», взятый в нашей стране на вооружение, был куплен в Италии. На нём Чечелашвили летал штурманом. На нём он усовершенствовал прицел и бомбосбрасыватель. Это была устаревшая деревянная лодка: тяжёлая, тихоходная, не манёвренная, доживавшая последние дни в строю. На родине, где она была построена, уже улучшенная модель этого типа бомбардировщика была снята с вооружения ещё в 1929-м. В 1935 году итальянцы бомбили Эфиопию с более совершенных самолётов типа «Капрони». Бомбардировщики «Капрони» были оснащены усовершенствованными оптическими прицелами и автоматическими бомбосбрасывателями. Спрашивается, зачем мог понадобиться итальянцам прицел и бомбосбрасыватель, выброшенные на свалку, хотя и усовершенствованные? В наше время вся эта игра, стоившая жизни честному человеку, смешна и глупа.

В тот период страна находилась за железным занавесом. Естественно, отправка и получение из-за границы писем многих пугали. И всё же ни небрежно оставленные черновики чертежей прицела и бомбосбрасывателя, которые следовало сжечь, ни посылка и получение писем из заграницы, что являлось всегда неотъемлемым правом людей, ни получение денег членами семьи Чечелашвили от своей приёмной дочери, ни, наконец, нежелание Кето возвратиться на Родину давали право подозревать Чечелашвили, но не давали никакого права обвинять и арестовывать ни Петра Георгиевича, ни его братьев, ибо доказать вину, которой не было, в сложившейся обстановке невозможно. Без доказательства вины виновных не бывает.

Обвинения, выдвинутые против Чечелашвили, были неаргументированными. Они оказались плодом малограмотности, неопытности и легкомыслия работников НКВД. Обвинения против Чечелашвили могли обрести юридическую силу из-за превышения власти и безнаказанности следствия и применение человеконенавистнических методов ведения дознаний.

Теперь, спустя 40 лет действия НКВД вызывают смех у не пострадавших и трагическое воспоминание и горечь у подвергшихся преследованию не только за органы, но и за тех, кто их подбирал и подкармливал, награждал привилегиями. По тем понятиям органы создавались выходцами из рабочих, самого преданного революции класса. К сожалению, эти выдвиженцы ненавидели свой народ, оказались людьми деспотичными, жестокими, слепыми и фанатичными.

Здоровые люди могут спросить, были ли в тот период слуги и блюстители исполнения директив верховных властей патриотами своего Отечества? Чего было больше в их умах – фанатизма, недомыслия или тупости? Вероятно, того и другого и, конечно же, невежества и холуйского повиновения. Выслуживались, ходили на задних лапках, только бы угодить и получить похвалу, прибавить себе почёта и, конечно же, на лишнюю тарелку похлёбки.

Знали ли прокуроры, следователи и судьи, что не всякий человек способен облить себя помоями? Налгать на себя и поставить под ложью подпись? А ведь нужно было заставить. Требовали и заставляли честных людей на себя лгать. Для этого Сталин приказал бить и калечить.

Били, калечили и убивали в комнатах дознаний. Дни и ночи вымогали одно слово «виновен» и подпись.

После убийства Кирова от сторонников Бухарина и Зиновьева подписей и признаний не требовали. Руководствовались выступлениями, письмами, опубликованными трудами. Их без суда вывозили за город и расстреливали. При чистке армии и флота предание суду и вынесение приговоров, особенно к смертной казни, без признания вины и подписи виновных не допускалось, строжайше запрещалось. Ведь история – беспристрастный обвинитель за человеческие злодеяния не только тех, кто ещё остаётся в живых, но и ушедших из неё, но оставивших о себе печальный след. Вот почему заставляли невинного человека клеветать на себя: использовались изощрённые способы воздействия на психику и физические силы людей, только бы добиться желаемого и затем со злорадством недоросля рассмеяться: «Ещё один «враг народа» раскололся».

Как печально, некому было подумать о главном. Укрепляли ли органы НКВД Отечество? Или наоборот расшатывали его. Сеяли семена единства народов многонациональной страны или культивировали ненависть, подозрение и озлобление друг к другу.

Бесспорно, укреплялась диктатура непогрешимости человека, названного верховным вождём. Разве в этом нуждалось социалистическое Отечество, стоявшее на пороге нападения на него злейшего врага фашизма?

К утру в камеру ввели Крижжановского. Он был мрачен и еле жив, с трудом волочил ноги. За шестнадцать часов, которые он отсутствовал в камере, его дело следствием закончили и осудили на пятнадцать лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах.

Крижжановский начинал трудовую жизнь механиком на буксире «Буг» в Одесском порту. В то время он уже был женат и имел грудного ребёнка. На буксире работала буфетчицей и поваром Ира Бегова. Она была совеем юной и приятной девицей. Вначале Ира симпатизировала, затем стала надоедать Крижжановскому. Она всё для него делала, не отпуская от своего внимания. По словам Крижжановского, он объяснял Беговой, что женат, имеет дочь и что жену он ни на кого другого не променяет. Ирина со всем соглашалась, и однажды сказала прямо:

– Разве я обязываю тебя на себе жениться?

Крижжановский смалодушничал, а когда она забеременела, сказала, не стесняясь:

– Я не думала, что так получится. Теперь ты обязан стать моим мужем и немедленно развестись с женой.

Крижжановский отверг предложение. Попытался откупиться, но был бессилен. Бегова всюду его преследовала и настигала. Он уволился с буксира «Буг» и поступил на сухогруз «Цюрипинск». Она узнала его новое место работы, продолжала преследовать и мстить.

Когда в 1937 году пришёл запрос на буксир «Буг» из севастопольского НКВД, нашлись люди, которые предложили опросить Бегову, уже ставшую Ириной Ткач. Ткач долго не могла понять, что от неё хотят, но когда разобралась, сообразила, что наступило время окончательного отмщения Крижжановскому.

Она в тот же день оформила отпуск. В местном НКВД взяла пропуск в Севастополь и в срочном порядке явилась на Пушкинскую улицу. После подписи Ткач протокола свидетеля, начальник первого отделения Цукерман нашёл возможным сделать очную ставку обвиняемого Крижжановского со свидетельницей Ткач.

Трудно сказать, инструктировал ли кто малограмотную Ирину перед очной ставкой. Возможно, она и сама уже многое познала и многому научилась. Проявила она себя на следственной комедии как настоящая аферистка – лживая, жестокая и наглая.

Цукерман сидел на своём месте. Слева у края стола посадили обвиняемого. Справа на расстоянии четырёх метров стоял стул для свидетельницы Ткач. В конце длинной залы сидели два следователя, своего рода свидетели. Когда пригласили свидетельницу, Ирина кокетливо

вошла в залу, сказала «здравствуйте», кланяясь в двух направлениях. Когда она села против Крижжановского, снова сказала:

– Боря, здравствуй! – Крижжановский вежливо ответил. Следователь спросил свидетельницу:

– Товарищ Ткач, вы знаете сидящего перед вами человека?

– Да, это Крижжановский. Он служил на «Буге» механиком.

– Вы были в хороших отношениях с ним?

– А чего же мы могли не поделить? Жили, как и положено сотрудникам на одном буксире.

– Никогда не ссорились?

– Конечно, нет. У нас бывали душевные разговоры.

– О чём?

– О жизни людей в нашей стране и за границей.

– Это неправда, – не сдержался Крижжановский.

– Молчать! Вас не спрашивают! – разорвал тишину окрик следователя.

Ткач продолжала:

– Он, наверное, хочет сказать... – медленно, краснея, но с наигранной уверенностью и смелостью продолжала свидетельница. – Что добивался сожительства со мной. Да, вначале я ему симпатизировала. Но когда узнала о его мыслях, о его настроениях, о его взглядах на нашу советскую жизнь, позволила бы я с таким подлецом любовь крутить? Гад ты! – крикнула она и, вскочив со стула, плюнула в его сторону.

Следователь успокоил Ткач и усадил на прежнее место, задал новый вопрос:

– Что же он вам такого говорил?

– Он говорил, что в любой стране жить лучше, чем у нас. Мы много работаем и мало получаем. Что в период коллективизации сельское хозяйство было разорено, люди голодали, а многие и умерли от голода.

– А говорил он, что хочет остаться в капиталистической стране?

Ткач в замешательстве поворачивала голову от Крижжановского к следователю, ещё сильнее краснея. Рот её был беззвучным, но не закрывался. Наконец, она собралась больше с физическими силами, чем мыслями, которые у неё работали с большим опозданием, начала лепетать:

– Кажется, говорил. Наверное, говорил. Да, он мог сказать.

Следователь помрачнел, сурово и выжидающе смотрел на свидетельницу в упор, но, вероятно, не знал, как помочь.

– Да, я вспомнила, он говорил. Он говорил. Он несколько раз говорил, что хочет остаться за границей.

Следователь плохо изучил свою свидетельницу и задал непосильный вопрос:

– Какой город ему больше всего нравился, где он намеревался остаться и не возвращаться на Родину?

– Он хотел остаться в Нарииомаре или Охе. Уже забыла. Точно не помню.

– Это советские города, – торопливо поправил следователь, – вы спутали, наверное, он называл города Амстердам и Осло.

– Да-да! Извините, я ошиблась... Он называл Астердам... Астердам самый красивый город.

Крижжановский повесил голову, молчал.

Один из присутствовавших следователей подошёл к Ткач и тоже задал вопрос:

– Товарищ Ткач, я не совсем вас понял. Подследственный Кри-... Крижжановский говорил вам, что намеревается остаться за границей и изменить своей Родине?

– Да, говорил.

– А вас не приглашал остаться с ним?

– И меня приглашал.

– Позвольте задать свидетелю вопрос, – снова не сдержался Крижжановский.

– Здесь задаём вопросы мы. Ваша обязанность – выслушав, признаться в совершённых преступлениях, – нарушая элементарные правила очной ставки, высказывал напутствия начальник первого отделения.

– Я протестую! Я не подпишу протокол, – с возмущением заявлял Крижжановский.

По существовавшим нормам уголовно-процессуального права обвиняемый имел право задавать вопросы свидетелю. К сожалению, НКВД лишил этого права всех обвиняемых. Начальник первого отделения Цукерман грозно закричал:

– А мы вас и не станем просить подписывать. Без вашей подписи обойдёмся!

Процедура очной ставки была законченной. Не разрешили Крижжановскому спрашивать, не пожелали его выслушать. Крижжановский намеревался спросить свидетельницу как он мог хвалить города других государств, приглашать свидетельницу остаться за границей, когда они в бытность совместной службы на своём буксире дальше акватории Одесского порта не выходили. Ко времени их знакомства Крижжановский за границей ещё не бывал. Он мог объяснить следствию и опровергнуть показания свидетельницы очевидным примером. Допустим, что изложенный свидетельницей разговор имел место. Но это было пять лет назад. После этого Крижжановский на три года уходил в заграничное плавание не единожды, посетил свыше тридцати заграничных портов. Во всех городах десятки раз сходил на берег и не остался, возвращался на своё судно. Наконец, по законам всех стран мира Ирина Ткач не могла быть свидетельницей. Она была любовницей Крижжановского. Мог ли он это доказать? Да, мог. Их дело дважды рассматривал народный суд. Судили обоих за клевету и взаимные оскорбления. Один раз их помирили, а второй раз обоих оштрафовали по двадцати пяти рублей. А исполнительный лист на алименты разве не служил подтверждением ссор между ними, возможной неприязни и озлобленности друг к другу, что как раз и послужило причиной сумасбродных, наглых, от начала до конца лживых показаний свидетельницы.

Что ж, директива требовала человека засудить и, не взирая ни на что, засудили. Сведений о несчастном человеке автор не имел. До амнистии после смерти Сталина больной Крижжановский в лагерях дожить не мог.

Самым ужасным было, что на государственную защиту Крижжановского лишил права НКВД. На защиту общественную в те годы никто бы не согласился, так как на второй же день защищавший оказался бы в такой же камере, в какой второй год томился Крижжановский.

Спустя три часа после очной ставки, состоялся над Крижжановским суд. Такой же как и тысячи других, в составе председателя, двух заседателей, двух конвоиров, подсудимого и свидетельницы.

Суду Ткач сказала ещё больше. Учла прежние ошибки, говорила более логично, как могло показаться со стороны, более убедительно и правдиво. Итак, старший механик на судах дальнего плавания Крижжановский был арестован по доносу осведомителя, его подчинённого. В тот день следователь получил показания свидетельницы Ткач. Два «неопровержимых доказательства». Советский трибунал счёл вину «доказанной» и вынес «справедливое решение».

АРЕСТЫ ПРОДОЛЖАЛИСЬ

Второй месяц продолжались аресты командиров и политработников на Черноморском флоте так же, как и во всей армии и во всех флотах. Чистка была столь основательной, что на многих кораблях не оставалось ни одного среднего командира.

На 75 батарее несколько дней командовал старшина первого орудия. Жуковский был раньше всех арестован и вскоре расстрелян. Командир взвода Забельский, однокашник Химича, как поляк по национальности был демобилизован. Главный старшина Крижачковский был арестован и осуждён на десять лет.

Прокурор Черноморского флота Чёрный давал санкции и подписывал ордера на производство обыска и ареста на всех, на кого поступали материалы от политработников, узревших подозрение.

Однажды Чёрный позволил в присутствии своих подчинённых хвастливо воскликнуть:

– Наконец наступило долгожданное время очиститься от скверны и укрепить однородность советского общества!

Всех «врагов народа» и уволенных из армии и флота в запас и осуждённых можно разделить на две категории: молодёжь, не знавшую капиталистических отношений, и командиров старшего поколения, пришедших в армию и флот через Гражданскую войну из царской армии и флота.

У большинства малолетних совершеннолетие наступило после дискуссий и борьбы в партии за власть. Молодые знали Ленина и Сталина и были преданы им. В те годы политика была в моде. На собраниях, политических занятиях командиры вели себя активно: интересовались международной и внутренней политикой страны, высказывали различные суждения, спорили особенно по партийным решениям, которые своим содержанием не согласовывались с фактической жизнью в стране, игнорировали бедность народа, усиливали притеснения.

В сознании граждан и, конечно же, в сознании командиров возникали расхождения в умах, наступали психологические конфликты. И всё же, как не покажется странным, идейных противников генеральной линии партии среди молодых были единицы, а, возможно, и совсем их не было.

Попали в опалу прежде всего любители спорить и хвастуны, желавшие показать себя такими политически зрелыми, знающими, наивно думая, а, вернее, не думая, что слушающие политические работники не отнесут их к морально неустойчивым.

Были и такие молодые командиры, которые по нежеланию или неумению старались отмалчиваться, активно не выступали на занятиях марксистско-ленинской подготовки и конфликт в своём сознании выражали через анекдот, шутку, иносказание.

Сколько существует государство как орган насилия, столько и бытуют анекдоты о королях и принцах. Что такое анекдот? Это точно подмеченные особенности, чаще недостатки, синтезированные и выраженные человеческой мудростью. История донесла до нас много правильных народных оценок своим руководителям. Из всех князей Древней Руси всего меньше было сложено анекдотов на Владимира-солнышко. Позже, в наше время – всего больше анекдотов на Николая Палкина и Сталина. Эти справедливые народные творения столпам, оказавшимся у руля страны, вполне согласуются с малоумием, легкомыслием и нечеловеческой жестокостью к своим соотечественникам.

Ни в одну социально-экономическую эпоху, ни в каком бы то ни было государстве анекдотчиков не судили трибуналами, если их действия не исходили из хулиганских побуждений. В нашей стране в тридцатые годы за анекдот, рассказанный о ком-либо из государственных руководителей, рассказчик подвергался политическому гонению, объявлялся врагом народа и получал не менее восьми лет тюремного заключения, с последующим поражением в политических правах.

Вот один из анекдотов на Сталина, за который рассказавший получил восемь лет тюрьмы и три года поражения в правах: «Почему Сталин носит сапоги с высоким голенищем?» – спрашивает любознательный. «Потому что не обходит ни луж, ни выгребных ям. Прёт прямо!»

Если хотите, это не анекдот, а настоящая биография человека недалёкого, жестокого, игнорировавшего элементарные жизненные интересы своего народа.

Умудрённые жизнью люди поучают. В случаях, когда высказывают недостатки по твоему адресу, следует не злиться на них, не наказывать рассказчиков, а вслушаться, вдуматься, осмыслить сказанное о себе и постараться поправить себя. К несчастью, на это способны только люди, воспитанные в духе великодушия и человеколюбия.

Командир взвода прожектористов Грищенко за организованную на Историческом бульваре шутку во время перерыва между командирскими занятиями получил восемь лет. Хара-Мурза – двенадцать лет. И смешно и грустно, в целом же – трагично.

Ко второй группе «врагов народа» следует отнести товарищей старшего поколения. Эти люди вступали в партию в годы, предшествовавшие падению царизма и на заре советской власти, они воспитывались в коллективах с высокими нормами демократии. В их среде существовали различные течения человеческой мысли, относимых к различным уклонам, к марксистским и неревolutionционным и даже контрrevolutionционным.

В период, предшествовавший XV съезду партии, велась широкая дискуссия о возможности построения социализма в одной стране без победы пролетарских революций на западе. В 1927 году XV съезд осудил оппозицию и, следовательно, всех поддерживающих её взгляды.

Но споры, высказывания мнений велись раньше, до съезда. К тому же статьи и речи Бухарина, Зиновьева печатались рядом со статьями Сталина. И кто знал, какое решение примет съезд? Люди высказывали своё мнение, не подозревая, что с них после спросят за их смелые выступления и высказывания своих взглядов. Да многие и не понимали до конца того, что говорили, что отстаивали. Просто наивно и добродушно присоединялись к тому или другому вождю.

За несколько месяцев до съезда во всех партийных организациях, в том числе и ученых заведениях, в армейских и флотских партийных организациях были проведены собрания активов, на которых все члены и кандидаты партии должны были выступить и обнародовать своё мнение, к кому они присоединятся и отдадут свой голос. Выступления стенографировались.

Не все были широко грамотными. В те годы культура и грамотность в стране были низкими. Не все могли до тонкостей разобраться в идеях и тех, которые объявляли себя на ленинских позициях, и тех, кого считали на позициях противоположных. К тому же, нужно было понимать завуалированную борьбу за власть, научиться распознавать авантюристов. Только командиры с академическим образованием убеждённо отстаивали избранную платформу. Подавляющее большинство средних командиров не разбирались в массе течений и уклонов, например, как Жилин. Они ничего вразумительного высказать не могли. Но если они открыто примыкали к тем, кто высказывался за возможность построения социализма в одной стране, или, поднявшись, говорили коротко: «Я за Сталина!» – этого было достаточно, чтобы оказаться в списках праведников. Остальные, разделявшие взгляды оппозиции хотя бы частично, заносились в чёрные книги.

Теперь, после ошибочного, а, возможно, и преднамеренного обвинения в измене Родине Тухачевского, Блюхера, Кожанова, Якира и других, была опущена директива: «Очистить Вооружённые силы от всех, взгляды которых оказались иными, чем требовал Сталин».

Все, занесённые в чёрные книги, арестовывались немедленно. Вместе с ними арестовывались и те, кто в процессе трудовой деятельности в силу убеждений или недомыслия высказывались не в унисон с требованиями Сталина и были взяты на заметку как противники.

У подавляющего большинства этой категории обвиняемых имелась одна улика, по которой их арестовывали. Но чтобы их осудить, требовалось второе подтверждение злодеяния, и когда его следователи не находили, смертельно били подследственных, заставляли признавать себя виновными и под ним подписываться.

Ни в одну социально-экономическую эпоху за идеологические убеждения не отдавали под суд. Только средневековая инквизиция объявляла неверующих еретиками, предавала анафеме и казнила, подвергая страшным мукам.

Центральный комитет партии, руководимый Сталиным, поступил хитро: чтобы снять с себя ответственность за расправу над своими противниками, были спущены директивы, обязывавшие военные и гражданские партийные организации снова созывать партийные активы, на которых уже предлагалось зачитывать извлечённые из архивов дискуссионные выступления

и требовать от выступавших объяснений. Выступавшие против Сталина не могли отказаться от своих слов, они, как правило, подтверждали своё выступление и осуждали его, объявляя ошибочным, клялись впредь не повторять, но было поздно. Активы открытым голосованием утверждали выступления как несогласие с генеральной линией партии и определяли каждому принадлежность к той или иной оппозиции. Более того, на том же активе по сообщению секретарей первичных организаций присовокуплялись новые ошибки и несогласия, если они имели место и были записаны в политические дела.

Всё собранное квалифицировалось как обвинительное заключение. После этого человек терял право не только принадлежать к партии, но и социалистическому обществу, объявлялся врагом народа.

Так люди мыслящие, заботившиеся о благе своего народа, были отданы на растерзание своих же товарищей. Причём высказываться в защиту никто не мог: он рисковал в лучшем случае оказаться за решеткой, а мог и потерять жизнь.

Актив Черноморского флота судил Кожанова, Боголепова и десятки других бывших командиров, всех заслуженных перед Родиной товарищей. Актив исключил их из партии и причислил к троцкистско-зиновьевской оппозиции. Оппозиция была объявлена вне закона. Исключённых из партии и объявленных принадлежащими к оппозиции передавали в НКВД для объявления для них дел, требуемых процессуальным правом. Затем на допросах пытками вымогали признания убеждённой принадлежности к троцкистско-зиновьевской или бухаринской оппозиции, и подпись. Наконец, десятиминутный суд и приведение приговора в исполнение.

Кожанова Ивана Кузьмича судил актив под руководством Октябрьского (Иванова). Бывший командир Амурской флотилией сделал всё, чтобы освободить для себя место. Присутствовал на активе и Жилин. Он тоже поднимал руку за казнь своих прямых начальников, тех, которые его выдвинули в командиры полка и оставили на флоте после им совершённых нарушений.

Спустя тридцать лет после казни Кожанова Жилин скажет:

– Когда меня отстранили от командования полком, Кожанов не дал согласия перебросить меня на другой флот и понизить в должности. Он меня оставил в штабе флота. За это я его вспоминаю добрым словом.

Затем с глубокой скорбью в голосе добавил:

– На активе Кожанов и Суслов плакали. Что ж? Все подняли руки? Поднял и я. Если бы я не поднял руки, меня бы тоже исключили из партии и могли расстрелять.

Он говорил правду: существовала цепная реакция, не миловавшая никого и при том по малейшей причине, даже сочувствию, если оно было заметно проявлено и могло быть подтверждено свидетелями.

Уместно поставить вопрос: разве люди, исполнявшие директивы «всевышнего» Сталина, не понимали несовместимости его приказов с установившимися в мире нормами человеческих прав? Как бы ни так! Действовал инстинкт страха. Авось меня не коснётся, а он – чёрт с ним. Разве честные и порядочные люди не знали, что за мысли человека нужно не убивать, а поощрять? Поощряли, если он восхвалял кормчего, по полчаса ему аплодировал на собраниях. Против него же никто не смел открывать рта.

Разве передовые умы не понимали, что любой коллектив, в котором нет критики, в котором провозглашается единство мнений, является коллективом ограниченным, потерявшим способность правильно оценивать вечно возникающие ситуации и из огромного многообразия событий извлекать самое полезное для народа? Что ж, действовало холуйское угодничество. Чтобы сохранить кормление и возвысить своё служебное положение, требовалось угодничать. Ведь по холуйству оценивали руководителей, а исполнителей трудовых дел страхом уничтожения превратили в послушную толпу.

Итак, наша страна оказалась одной из первых, в которой судили не за уголовные и антигосударственные преступления, а за идеи. Это было преднамеренное уничтожение мыслящих кадров. Это был запрет на самое дорогое в жизни людей «искать истину в полемике, в спорах и из тысячи идей находить нужнейшую, самую правильную».

Когда общество людей приняло решение сделать доброе дело для себя и своих потомков в политике или хозяйственном строительстве, оно прежде всего должно обсудить тысячи вариантов и принять из всех наилучший. Тогда, зная происходившее, люди начали опасаться, а вдруг наше мнение будет противоречить мнению верховного вождя? Ведь не помилуют! Нужно дожидаться, что скажет он. А он действительно взялся думать за всех. Горько и обидно, но так было. И как обидно, что теперь, спустя десятилетия, находятся люди, заставляющие об этом забыть.

В один из июньских дней, поздно вечером, Николая Николаевича Вятцкого вывели из казематов НКВД. Медленно и тяжело ступая, бывший комиссар корабля «Парижская коммуна» думал, что его решили вывести на свежий воздух, на прогулку. Ведь во всех тюрьмах мира, даже в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, считавшихся самыми жестокими в России, каждому узнику ежедневно давали тридцать минут на прогулки. К сожалению, Вятцкому сказали идти в комнату карусельных допросов.

Комнаты карусельных допросов существенно отличались от других следственных комнат. Они были в два раза длиннее, имели по два окна, у короткой глухой стены прямоугольника стояли письменные столы. Правая и левая стены, когда-то имевшие дверные проёмы, были заколочены и завешены шторами из плотной ткани. Такой же шторой завешивались и дверь, располагавшаяся справа и сзади сидевшего следователя. За всеми шторами постоянно дежурили дюжие молодцы. Их обязанность по сигналу следователя наброситься на допрашиваемого подследственного.

Вятцкого посадили перед столом, на приличном удалении. Рядом с ним стали конвоиры. Вошёл капитан Цукерман, шеф эскадры.

– Встать! Суд идёт! – скомандовал Цукерман.

Вятцкий, опершись руками на колени, пытался подняться, но сил не хватило – сильно ослаб.

– Почему не встаёшь? Встать! – вторично заорал Цукерман.

– Не могу. Нет сил, – ответил Вятцкий и развёл руки в стороны, наклоняясь вперёд, чтобы из оказавшихся впереди никого не видеть. Это был протест поругания чести и достоинства заслуженного человека. Вятцкий был старше всех, совершавших комедию «правосудия».

Несмотря на тяжёлое детство, безрадостную юность, тернистый путь трудового становления, он был грамотнее и умнее всех своих тиранов. Участием в революции он заслужил право уважения к себе. По писаным и не писаным законам его соотечественники обязаны почитать его заслуги. И если происходило нечто другое, враждебное ему, то совсем не потому, что Николай Николаевич был в чём-либо виновен, нет, это чинился произвол, насилие и беззаконие над ним.

Да, он был со многим творимым в стране не согласен. А разве его идеи кто-нибудь проверил на практике? Задумывался над ними, прежде чем объявить контрреволюционными?

Один из случаев, рождённых жизнью, не вредно вспомнить, чтобы лучше понять насколько является вредным и пагубным абсолютизм.

Однажды два маститых учёных должны были пешком добираться до опытного поля. На своём пути они встретили с детства им известный заливаемый водами луг. После весеннего разлива река уже вошла в свои берега, но на больших пространствах низменной местности оставила бесчисленное количество луж и наполненных водою ям. Обходя их, следовало преодолеть заросли ивняков, густых и грязных. Обоим был известен и обходный путь, к сожалению, длиннее в два раза. Остановившись, они задумались:

– Лучше обойти, – сказал один.

– Да ты что, спятил? Не только завтрак, но и обед без нас пройдёт.

Мнения разошлись. После долгих споров – один пошёл прямо, другой – в обход.

Какое было удивление любителя коротких расстояний, когда он, изорвав обувь, измученный, грязный, увидел своего товарища чистым, бодрым и уже отобедавшим. Вечером они возвращались уже в обход. Когда дошли до места, где их мнения разошлись, любитель коротких дистанций, не стыдясь, воскликнул:

– Ну, друг, ты прав. В этом я убедился на практике. От прежнего желания ходить коротким путём через луг этой весной я отказываюсь и осуждаю себя, – поступали так всегда, кроме сталинской эпохи.

Председатель трибунала в звании майора был невысок и очень подвижен. Голова его поворачивалась, чуть ли не на полную окружность и чаще, когда ненужно. Своей внешностью он напоминал подростка, хитроумно пробравшегося через заслоны контролёров в зелёный театр. Усевшись, он ожидал окончательного результата: разоблачат и выгонят его или он, торжествуя, останется на занимаемом, чужом, месте.

Справа от председателя трибунала сидел капитан Николай Михайлович Пегов. Он был суров и непрерывно посматривал на подсудимого. Слева занимал место старший лейтенант. Он тоже сидел мрачным. Движения его были медлительными, со стороны казалось, что он нездоров.

Председатель объявил состав суда, совершил все процедуры, положенные по процессуальному кодексу, обратился к подсудимому.

– Гражданин Вятецкий, встаньте!

– Не могу, ноги не держат.

После совещания с членами трибунала председатель сказал:

– Разрешаю сидеть, – и приступил к судебному следствию.

Вятецкий подумал: «Даже такая крыса, как этот судья, подчёркивает недостижимость своего «я». Он разрешает, тогда как должен разрешать суд. В то же время он перед старшими холуйствует, угрожает, чтобы погладили по головке. Невероятное утверждение культа старших».

– Гражданин Вятецкий, – неожиданно поправился председатель. – Подсудимый Вятецкий, вы обвиняетесь в измене Родине, признаёте себя виновным?

– Я перед своей Родиной преступлений не совершал. Нашу Родину я завоёвывал своей кровью, двумя тяжёлыми ранениями, как же я мог изменить ей?

– Нельзя ли короче?

– Не умею.

– Значит, не признаёте себя виновным? Хуже для вас, – недовольно подвёл итог разговору председатель трибунала. Он не сводил глаз с подсудимого, смотрел на Вятецкого нагло и издевательски.

Николай Николаевич тоже временами бросал свой взгляд на председателя с презрением и не понимал: «За что этот человек меня ненавидит? Ведь он меня никогда не видел и не знал», – с горечью рассуждал подсудимый.

Невероятное могущество имели директивы в то время. «Холуйское выслуживание партии стало нормой жизни. От человеческой порядочности и справедливости ничего не осталось», – соглашался подсудимый, и низко уронил голову.

– Всем ходом следствия ваше преступление доказано, – утверждал председатель трибунала. Он, точно испугавшись, быстро повернул голову в обе стороны на заседателей, которые в это время смотрели на Вятецкого и не сделали никакого движения в сторону председателя.

– Вы пошли против решения XV съезда партии, – он забыл сказать слово «нашей» и решил ещё раз повториться. – Вы не согласились с решением XV съезда нашей партии. Вы до дня ареста не порывали с контрреволюционным подпольем.

Вятецкий не сдержался и возразил:

– Где вы могли встретить подпольные организации? – будучи в сильном возбуждении, Вятецкий решил усостыжить майора. Он как первокласснику сказал, – председатель, как вам не стыдно так бессостыжно лгать?

– Молчать! – закричал жестокий и фанатично преданный культу Сталина человек, получивший право занять место председателя трибунала.

Он сидел мрачным, озлобленным, его челюсти сжимали губы. Вятецкому казалось: вот он сейчас перепрыгнет стол и мгновенно вцепится в горло.

Долго майор собирался с мыслями, наконец, голосом, всё ещё раздражённым, спросил:

– Подсудимый Вятецкий, известно ли вам, что XV съезд объявил принадлежность к троцкистско-зиновьевской оппозиции и пропаганду его взглядов несостыжимой с пребыванием в рядах большевистской партии?

– Да, известно. Вы правильно сказали и подчеркнули о пребывании в партии, но не в человеческом обществе. Вы намереваетесь лишиться меня права жить вместе с моими соотечественниками. А на счёт примыкания к подполью в советские годы, я ещё раз повторяю, вы бессостыжно лжёте. Более того, лично я никогда не примыкал ни к Зиновьеву, ни к Бухарину. А политикана Троцкого всегда ненавидел. Он ещё больший авантюрист, чем...

Председатель почувствовал возможность произношения фамилии Сталина, прервал подсудимого окриком. Да Вятецкий и не назвал бы её, ведь всё было понятно даже малограмотным конвоирам, о ком шла речь.

– Прошу вас быть осторожнее в выражениях. Я вам запрещаю даже намёки делать в адрес нашего отца, вождя и учителя товарища Сталина Иосифа Виссарионовича.

Председатель повернул голову к Перову, затем к старшему лейтенанту, о чём-то вёл разговор с ними, и совсем нормальным голосом спросил подсудимого:

– Подсудимый Вятецкий, к какому же вы течению примыкаете? К изменникам Родины Троцкому, Бухарину или Зиновьеву?

– Ни к какому. Я Вятецкий, революционер. Признаю только Ленина, его революционное учение. Я признаю и Сталина. Но во многих вопросах он поступает неправильно, искажает ленинизм. Об этом я говорил раньше, говорю и теперь. Сталин прибрал к своим рукам всю полноту власти. Он скоро объявит себя богом, а монархом он давно уже является.

Председатель трибунала прервал Вятецкого:

– Это народ ему создал славу. А вы клеветеете, – рот председателя неожиданно перекосилась и казалось, что он вот-вот покажет язык, как нередко делают отроки, чувствуя свою беспомощность в противоборстве со своими товарищами.

– Нет, это вы клеветеете! Это вы создали Сталину славу, по полчаса заставляете народ ему аплодировать. На всех собраниях, кто устаёт и раньше прекращает аплодисменты, вы их берёте на заметки и тотчас заводите на них уголовные дела. Некогда революционный рабочий класс нашей страны террором превратили в запуганное и послушное стадо...

– Довольно! – прервал председатель Вятецкого.

Затем он повернулся к Перову и долго с ним разговаривал. Перов одобрительно качнул головой и задал подсудимому вопрос:

– Подсудимый Вятецкий, из ваших слов чувствуется ваша высокая образованность. Пожалуйста, определите, к каким оппозиционным течениям мы могли бы отнести ваши убеждения?

– Да, в первые годы советского государства я окончил Институт Красной профессуры и в 1935 году Военно-морскую академию. Вы слишком малограмотны, чтобы меня понять.

Диалектика учит: «Любой человек – другой мир». Я говорил, и сейчас говорю, что я признаю только ленинизм и Ленина.

Затем он, пересилив слабость, встал и чуть повышенным голосом потребовал:

– Кончайте комедию. Вас заставили убить меня. Я бессилен переубедить вас и противопоставить справедливость вашей несправедливости.

От последнего слова он отказался. Кто мог слушать его в пустой комнате? Кто мог понять его, человека, стоявшего на две головы выше своих обидчиков, ищущих доказательств в оправдание своей незаконности насилия и грубости над невиновным человеком.

Приговор был составлен раньше, чем разыграна комедия судебного следствия. На перекресток членам трибунала потребовалось четыре минуты.

Объявленный приговор был таким, какого ожидал для себя Вятцкий. В тех условиях, которые регламентировались директивами сверху, другого приговора быть не могло. Вятцкий принял его спокойно и мужественно, хотя и потребовались нечеловеческие напряжения интеллектуальных сил, которыми не каждый располагает.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НКВД

В один из вторников управление НКВД объявило приём посетителей. На Пушкинскую улицу пришла Евдокия Химич. Её попросили пройти в приёмную комнату, которая находилась за комнатой-ожидалкой.

Евдокия Химич давно возвратилась из Тарасовки. Жила у знакомых. Её не пускал в квартиру новый командир батареи Сметон. Он занял большую комнату. Вещи Химича перенёс в малую комнату, закрыл и опечатал дверь. Сметон наотрез отказался жить рядом с женой врага народа. С жалобой на Сметона и явилась Химич Евдокия в управление.

В приёмную вошёл Грабченко. Он бросил секундный взгляд на посетительницу, не сказав ни слова, медленно сел и развалился в мягком кресле. Ещё раз продолжительно посмотрел на сидевшую Химич и попросил изложить свою просьбу.

Начальник отделения не торопился что-либо писать или отвечать на просьбу. Он наоборот отводил разговор от сути, умышленно затягивая приём.

Вскоре он стал расспрашивать, как она жила с мужем. Почему она в нём не подозревала враждебных настроений. Спросил, как она сейчас относится к тому, что произошло. Что думает делать дальше и почему она до сих пор не написала в газету «Красный Черноморец» о своём желании порвать все связи с мужем, оказавшимся врагом народа.

Евдокия Химич «Красный Черноморец» читала ежедневно и во многих номерах находила краткие объявления, в которых жёны военнослужащих объявляли о своём разрыве с мужьями в силу несовместимости их убеждений и преданности партии и государству с убеждениями и поступками своих мужей. Евдокия Химич не одобряла решений торопившихся женщин, наоборот, осуждала их.

Неожиданно Грабченко был вызван. Он вышел из приёмной комнаты, не закрывая дверей.

В ожидалке его встретила миловидная, улыбающаяся, совсем юная дама. Она кокетливо встала и, подчёркивая свою легкомысленность, вышла навстречу начальнику. При виде очаровательного существа у Грабченко непроизвольно открылся рот и расширились глаза. Он, как хамелеон, тот час переродился: стал вежливым, внешне элегантным, по-рыцарски галантным.

– Вы ко мне? – спросил он незнакомку голосом, каким папы и мамы обращаются к детям, конечно же, к маленьким и когда детьми радуются.

– Да, – ответила она кротко, играя движениями и своей приятной наружностью.

Когда убедилась, что он сражён, и она нравится ему, лукаво улыбнулась и смущённо опустила глаза. Он что-то сказал ей ещё, что именно, она не запомнила, но восприняла как

приятное и сердцу близкое. А когда поняла, что уже не устоит, что он у её ног, овладела собою, стала вглядываться в его расплывшееся лицо смело.

– Почему же вы мне не сказали раньше, что ждёте? Я давно бы вас принял, – сокрушался старший лейтенант и подошёл вплотную к хрупкой и очаровательной особе.

Со стороны казалось – он готов был взять её нежные пальчики, ласкать их, а, возможно, и целовать. Она тоже продолжала смело на него смотреть с прежним любопытством, как бывает на танцевальных вечерах, когда объявляют дамское танго и партнёрша приглашает понравившегося партнёра на тур танца, а затем, позабыв скромность, танцуя, кокетничает и рассматривает приглашённого настойчиво и с наглостью.

– Я сейчас, я быстро, – убаюкивал Грабченко понравившееся существо, и энергично отошёл от посетительницы, направился в дежурную комнату.

Старший лейтенант на ходу что-то ответил дежурному, взял со стола какую-то бумагу и торопливо возвратился в свою приёмную. Дал две записки Евдокии Химич. Тонем служебным и категоричным сказал:

– Свободны!

Толкая своими длинными ботинками в каблук выходящую Химич, Грабченко торопливо покинул приёмную и остановился в ожидании. Он слегка наклонил голову в сторону элегантно сидевшей понравившейся дамы. Улыбка торжества ни на секунду не сходила с его лица. Вероятно, как и она, он был тоже убеждён, что счастье и ему привалило неожиданно и негаданно, но вполне заслуженно. Он ведь стоил того!

– Прошу вас, – сказал он ласково, чуть ли не отвешивая реверанс особой вежливости и душевного уважения.

В приёмную вошла Виолета Красовская.

Она была среднего роста. Исключительно женственная. Подобно несовершеннолетней тонка, нежна, с только что оформившимся бюстом.

В ней всё было изящно: и тонкие длинные пальцы с ярким вишнёвого цвета маникюром, и точно точёные ноги одетые в шелковые чулки цвета нежного загара, и лаковые туфли модели полного контэсса с различными украшениями и побрякушками на застёжках. Её хрупкая, лёгкая, как пушинка, фигура была обтянута нежным, в цветочках фатининовым платьем. Платье было сшито по последней моде. Слегка декольтированный воротник его на груди стягивался золотой брошью, напоминающей паука-крестовика. Чуть выше крепилась в тон платья большая алая роза, как символ страстности и непостоянства в любви.

Лицо Виолеты имело нежно розовое, с приятным лёгким загаром. Волосы от природы выходящие цвета настоя далматинской ромашки, вероятно, только перед приходом в управление были тщательно вымыты. Они были пышными и так хороши и приятны, что по ним можно было угадывать повседневную жизнь Виолеты. Такие волосы бывают у женщин, не знавших головных болей, не страдавших бессонницей, живущих в спокойствии и достатке.

Розовые губки Виолеты находились в постоянном движении и как бы сами напрашивались на поцелуй. От них веяло настоящими духами из настоящих живых цветов.

В общем грузинская молодёжь подобных женщин считает аппетитными, а женщины почтенных возрастов отдают им дань как красавицам.

После того, как Грабченко сделал всё, что просила Красовская, он посоветовал ей написать заявление с просьбой к редактору «Красного Черноморца» опубликовать на страницах газеты объявление о том, что она, как патриотка Советского Союза, отказывается от мужа, ставшего врагом народа, и порывает с ним супружеские связи. Это заявление Грабченко обещал передать в редакцию лично.

В заключение приятного разговора начальник третьего отделения попросил Виолету в течение десяти минут прогуливаться по Пушкинской улице. «Жди, я обязательно подойду», – сказал он, торопливо объявляя, что приём посетителей окончен.

Грабченко было положено ещё два часа принимать посетителей. Но следует ли удовлетворять просьбы «врагов народа»? Обождут до следующего приёма через пятнадцать дней. Начальству он объяснил свой уход «по семейным обстоятельствам».

Шёл Грабченко с Виолетой по улице Ленина медленно. Красовская вела себя непринуждённо, игриво. За шутками и приятными разговорами молодые люди не заметили, как оказались у большого четырёхэтажного дома, в котором проживали сотрудники органов НКВД. Вошли в парадную дверь, поднялись на третий этаж и переступили порог квартиры Грабченко.

Комнаты квартиры сохранили лепку и роспись потолков давно ушедшего времени в мавританском стиле. Обе комнаты были со вкусом обставлены дорогой мебелью. Одно пианино, купленное ранней весной для шестилетней дочери, стояло как чужое и своей чернотой портило всю гамму композиции.

Расшаркиваясь перед будущей любовницей, хозяин квартиры показывал любимые вещи и недовольно сокрушался на чёрный цвет пианино. Точно художникам и мастерам неизвестно, что чёрных стен не бывает. Ведь можно же было пианино оформить под цвет красного дерева.

– Представляешь, – палач убеждал Виолету, – какая была бы гармония! – Он окинул взглядом стены, потолок и мебель. – А так точно болячка на здоровом теле сидит...

Виолета завидовала молча. Ведь она жила с мужем в одной маленькой комнатухе, не имевшей мебели.

В те минуты Грабченко действительно воспринимал диссонанс тонов стен мебели с пианино. Оказывается, ему тоже были не чужды красивые и гармонично изготовленные вещи. Он был тоже лишён безвкусицы и как все нормальные люди наделён эстетико-художественным восприятием, там в своей квартире, а на службе... История сохранила потомкам поведение императора-самодержца Всея Руси Павла I. Он мог опуститься на колена над клумбой и часами оплакивать сломанный ветром цветочек, но, вернувшись в казарму, мог приказывать насмерть заporоть солдата.

Вся квартира, как и сам её хозяин, Виолете нравилась. Ей некуда было торопиться. От безделья она изнывала больше, чем от тяжёлого труда. Мужа она успела изрядно позабыть. Ситуация, в которой она оказалась, была и желанной и необходимой. Она поступала так и делала всё, что хотел, и как нравилось хозяину.

Утром Грабченко шёл в управление, а Виолета в городок начальствующего состава полка, где проживали Красовские более двух лет.

Владимир Красовский был начальником связи зенитного полка. Это был умный, энергичный, трудолюбивый и преданный своему делу командир. Он был грамотнее любого из своих сверстников. Вырос в Киеве в интеллигентной семье. Окончил среднюю школу с отличием и с отличием окончил Киевское училище связи. Причиной демобилизации и ареста оказалось дело, не стоившее выеденного яйца, после ареста его родной сестры в Киеве. Спустя неделю арестовали и его.

Владимир Красовский родился в семье служащих. Сам он почитался учащимся. Как умный человек он понимал, что его служебное благополучие, его предстоящая карьера зависит не столько от его знаний и умений, сколько от принадлежности к партии. Будучи на последнем курсе обучения, он несколько раз подавал заявление о приёме его в партию, но приём служащих и учащихся всегда ограничивался. Тогда он уговорил сестру сделать ему партийные документы (она тогда работала в одном из киевских райкомов). Она с помощью своих подруг сделала всё – Владимир Красовский приехал в полк на должность командира взвода связи членом партии.

Два раза в месяц по четвергам с разрешения НКВД тюремная администрация разрешала передачи и свидания с осуждёнными. Подследственным передачи и свидания запрещались.

Стоял сухой, изнуряющий духотой день. Перед железными воротами тюрьмы на улице Восставших собралось свыше тысячи человек, преимущественно женщин и детей. Большин-

ство пришли с передачами. Пришли и те, кому разрешили свидания перед этапом на восток. Было не мало и таких, которые не знали, куда исчез арестованный. Но всего больше было таких, кто не знал, что ему делать, как поступить, где найти утешение своему горю.

Арестованные отцы и сыновья объявлялись врагами народа. Неприязнь и даже месть распространялись и на матерей, родивших выроdkов, на жён, пригrevших врагов, на детей вражьиx выроdkов.

Трудно сказать, чего было больше – боязни самих врагов или соприкосновения с ними и их родственниками. Одно оставалось неоспоримым: соседи, знакомые, дальние родственники шарахались от врагов и предавали их анафеме.

В конце 1937 года в одном из своих выступлений Сталин скажет: «Дети не отвечают за отца, братья – за братьев». Это несколько смягчило участь подвергнутых подозрениям. Однако и после этого родственники репрессированных не чувствовали себя спокойно и полноправно.

В тот четверг передач и свиданий с томившимися узниками в тюрьме житель северной стороны Севастополя, рабочий Морского завода Акулов тоже пришёл к тюремным воротам. Он был членом партии с 1912 года. Дважды отбывал царскую ссылку. Акулов сел на скамью у дома, стоявшего против тюрьмы, начал наблюдать поведение собравшихся просителей.

Спустя несколько лет он следующими словами охарактеризует поведение просителей и поведение тюремщиков, от которых зависела их судьба: «Всё было так же, как и при царизме: тот же плач, те же страдания, такие же лишения, но муки удвоены и в несколько раз усилена жестокость и ненависть к попавшему в беду человеку. Раньше тюремные надзиратели так грубо и бездушно не относились и не обращались с близкими и родственниками заключённых».

Несколько в стороне от собравшихся Акулов заметил лет семидесяти старуху – она стояла согнувшись. Её длинные жилистые руки лежали: правая на плече внука лет одиннадцати, левая на голове внучки лет восьми. По внешнему виду детей чувствовалось, что они давно досыта не наедаются. По виду старухи, особенно по её измученному горем лицу, спрятавшимся глубоко в орбитах глазах видно было, что она тоже голодает. Рабочий Морского завода Акулов подошёл к старухе:

– Здравствуй, мать!

– Здравствуй, добрый человек, – ответила потерянным голосом женщина.

– Не бойся меня и не стесняйся. Расскажи, что тебя сюда привело?

– Сына, отца этих детей арестовали.

– Папа служил минёром на крейсере «Червона Украина», – виновато пояснил мальчик и опустил глаза в пыльную дорогу. Чувствовалось, что ему уже сколько раз приходилось испытывать неловкость за своего отца, которого называли врагом народа.

– У меня уже нет денег, не на что купить хлебушка детям. Не знаю, что делать, – жаловалась старуха, не выходя из глубокой задумчивости. – Была в штабе флота – не стали со мной разговаривать. Ходили на пароход – не пустили, прогнали. Ходила в КВД – сказали «ваш сын – враг народа», и если я не уйду, то и меня посадят. Ехать в деревню не на что, да там и некому нас ждать. Хоть ложись и помирай.

– Где их мать? – показывая на детей, спросил рабочий.

– Мать их нашла себе молодого мужа – он получает зарплаты больше, – и уже второй год как уехала, позабыла куда. Вася, куда?

– В Кронштадт, – ответил мальчик.

– Отец детей не отдал, и вызвал меня с деревни. С ними я и хотела дожить свой век. И вот такое горе. Я не верю, что мой сын – враг. Он был человеком, любящим людей. Такие люди не могут стать врагами народа.

Акулов вытащил из бумажника 10 рублей и сунул старухе в руку.

– Возьми, мать, накормишь их, – сказал он и показал кивком головы на детей.

Дети смотрели кротно, девочка начала плакать.

Кадровый рабочий-революционер решил больше не наблюдать человеческие страдания, вызванные неумными и жестокими людьми. Медленно пошёл под гору.

Через несколько минут он обернулся: от железных ворот уходили последние просители и искатели помощи своему горю, а старуха всё ещё стояла в прежней позе, покорно стояли рядом с ней и её внуки.

Они смотрели с надеждой на железные ворота, позабыв, что за воротами никогда не служили гуманные и великодушные. Тюремные служащие всегда были способны приносить народу только обиды и страдания.

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Евдокия Химич с сыном Николаем приехала в родное село в полдень. Было воскресенье. Свободные колхозники, а также и те, кто освободил себя сам от полевых работ, собрались отправить в последний путь своего товарища. Ульяна Васильевна только три дня и не выходила на работу. В четверг и пятницу она не могла подняться, а в субботу на рассвете отдала свою душу потустороннему миру.

Как и принято в подобных случаях, разговаривали тихо, многие прослезились. Все заботились о точном выполнении соблюдаемых народом обычаев.

Ефим Лазаревич сидел в углу комнаты, опёршись на посох, ни с кем не разговаривал. Предался личным воспоминаниям и переживаниям. Нужно было выносить гроб с покойницей, но некому было, а путь лежал длинный – более километра. Разгар уборочной поры, да и мужиков то в деревне осталось мало.

Неожиданно прибежал председатель колхоза имени Тараса. Дуся думала, что вот он сейчас выразит свою скорбь по поводу утраты честного труженика, распорядится и за счёт хозяйства на марлю отпустит. Закрыть лицо покойницы нечем было. Но оказалось другое.

– Почему собрались? Хлеб нужно убирать, – закричал он.

– Как почему? – возмутилась соседка и подошла к председателю вплотную, чтоб вразумить бестактного человека. Однако вынуждена была на шаг отступить: уж так неприятно несло от него самогонным перегаром – в субботу он весь вечер пил с активом. Председатель со своей опорой славили высокий урожай озимого поля. Подошли ещё женщины. Начали уговаривать человека недалёкого, грубого и невежественного.

Председатель – ещё молодой человек – был воспитан жестоким и грубым. Своей опорой избрал лентяев и пьяниц. Вооружил их не орудиями труда, а ручками и карандашами. Они исправно командовали женщинами, исполнявшими и за себя, и за активистов.

Колхоз существовал семь лет. За это время сменилось шесть председателей.

Когда председатель выругался по адресу многих, а одну из женщин взял за руку, вытолкнул из хаты и потребовал немедленно отправиться в поле, Ефим Лазаревич, точно пробудившись от глубокого сна, высказался по-своему, как позволила ему его грамотность, и как он мог оценить происходящее вокруг.

– Мой отец-покойник, – начал рассказывать Ефим Лазаревич. – Говорил, что на барщину только до 1861 года колом и загоняли. После отмены крепостного права низко кланялись и просили приходить работать. Обещали и платили, пусть мало, но платили. А после работы людей кормили борщом со свиной и кренделями со сладким квасом.

Сказанное присутствовавшие выслушали внимательно, но сказать что-либо председателю побоялись.

Подростки принесли похоронные носилки. Они отличались от обычных тем, что стояли на четырёх ножках, отчего гроб, поставленный на них, возвышался на метр от земли. Концы носилок были удлинены и удобно ложились на плечи несущих.

Сколько существовала Весёлая Тарасовка, столько покойников носили мужчины. В то воскресенье Ульяна Васильевна отправилась в последний путь на плечах своих подруг.

Когда процессия тронулась, за гробом пошли дети покойницы и её близкие, с кем она делила тяжёлый труд, постоянные невзгоды, не зная спокойствия и радости.

К счастью, которое ей расхваливал Ефим Лазаревич, во что она поверила, почему стремилась в те края, она добиралась трое суток. Уходила от несбывшегося счастья на плечах таких же несчастных, как и сама, когда ей не исполнилось ещё и сорока шести лет.

Ефим Лазаревич на кладбище не пошёл. Да он вряд ли бы дошёл: он был худой, с трудом таскал не двигавшуюся ногу.

Похороны закончились. Поминальный ритуал тоже. Хата опустела. Ефим Лазаревич попросил младшую дочь бежать к дальнему соседу, где остановился переселенец из Полтавской области, и сообщить, что он готов продать хозяйство за две тысячи рублей. Сам принялся чинить тележку, сделанную им раньше из колёс и буккера, который хулиганы по указанию гостей разбили ещё в 1930 году, но колёса он предусмотрительно сохранил.

Через два дня Ефим Лазаревич взвалил домашний скarb из тряпок и кухонной утвари на тележку и вместе с детьми отправился обратно, но уже в Ворошиловград. Там работали его дети.

В поисках счастья на пути в Весёлую Тарасовку он сам тащил на своих плечах два тяжёлых узла и помогал Уляше. Убегая от счастья, он не мог даже идти, требовалась посторонняя помощь.

Он всегда говорил, что ему в жизни везло. Вот и в тогда – к утру на следующий день он добрался до города на одной ноге, разве не позавидуешь?

На третий день жизни на окраине города в шалаше один рабочий с патронного завода, рядом с которым работал Ефим Лазаревич, «подарил» ему половину своего участка. За «подарок» Ефим Лазаревич отдал ему половину своих денег, обещая никому об этом не говорить. На оставшиеся деньги купил подтоварника и горбылей, чтобы накрыть от дождя землянку.

В те времена заработная плата квалифицированного рабочего составляла 600-700 рублей в месяц.

– Конечно, хата и сад стоили в десять раз дороже. Один колодец стоил более тысячи рублей, – виновато объяснял Ефим Лазаревич. – Что поделаешь, никто не желает ехать в деревню.

Да, так было. В города убегали все, кто способен был найти лазейку и обойти правила, установленные властями. Убегали из сёл, не оглядываясь. Для многих это было единственным спасением от преследования и каторжного труда. Молодёжь устраивалась по метрическим свидетельствам. Старикам было хуже: они не имели документов и были вынуждены коротать свой век как осуждённые, как крепостные до конца своих дней.

До заморозков Ефим Лазаревич с детьми выкопали землянку и утеплили её. Завезли пять тонн угля. В городе оказалось проще и дешевле купить топливо, чем в деревне. Отрыли траншею под фундамент будущего дома.

Выросшие дети шесть дней в неделю работали на заводах. После работы впрягались в тележку и ехали за три километра в каменоломни. Ломами и кирками отламывали куски известняка и везли на участок. На километр ближе копали глину и везли на той же тележке. Из глины и соломы приготавливали раствор. Так через три года было построено второе жилище, сырое и неблагоустроенное, но укрывавшее от непогоды и зимней стужи.

Евдокия Химич два дня слонялась без дела. Затем согласилась с матерью ходить на полевые работы.

Седьмой год здравствовала «Сельскохозяйственная артель имени Тараса». Урожай повысились, но не достигали передовых единоличных хозяйств. Обрабатывались все пахотные земли, однако собранного урожая с трудом хватало расплатиться с государством за кредиты и по обязательным поставкам. Расплачиваться с МТС (машинно-транспортная станция) за

аренду техники, как правило, урожая не хватало. Многие жили за счёт членов семьи, работавших на производстве, и урожая с приусадебного участка. Приусадебные участки у всех колхозников были большие. Люди научились ценить землю – с огородов собирали хорошие урожаи. Было трудно – день требовалось отработать в колхозе или на производстве, затем до поздней ночи работать на своём огороде. Но голодавших уже не было.

До коллективизации единоличных хозяйств Тарасовка, состоявшая из восьмидесяти дворов, имела около трёхсот человек трудоспособных. По переписи 1928 года молочных коров было 144, лошадей – 210. Восемьдесят процентов хозяйств были полностью обеспечены всем сельскохозяйственным инвентарём. В «Колхозе имени Тараса» осталось 46 лошадей и 52 коровы, 1 трактор и пятидесятипроцентное обеспечение сельскохозяйственными машинами.

В единоличных хозяйствах использовались все уголки дороги и межи. Взрослые и дети по вечерам, ползая на четвереньках, руками рвали траву и подкармливали дойных коров. Для крупного коллективного хозяйства подобная практика неприемлема – нужно выращивать сеяные травы, нужно повышать урожай фуражных культур. Но как, чем и кто мог повысить урожай при отсутствии техники и работников?

Нечем и некому было работать. Косарки, которые были в начале 30-х годов разбиты, промышленность уже строила, но колхозам их не продавали. Заставляли колхозников арендовать в машинно-тракторных станциях. Да и стоил сельскохозяйственный инвентарь так дорого, что слабые колхозы не могли его покупать. Руководителями непрерывно велась агитация за использование техники в МТС. Но их труд стоил так дорого, а работали они так плохо, что колхозники вынуждены были отказываться от услуг МТС, к тому же, за аренду техники следовало платить только хлебом. Стоимость зерна исчислялась по твёрдым ценам, оплата за работу МТС исчислялась по коммерческим ценам. МТС обслуживались рабочими, их материально не позволялось обижать, драть три шкуры с колхозников уже вошло в привычку.

Во многих колхозах колхозники вынуждены были пахать и сеять мотыгой и убирать урожай косой. Для Весёлой Тарасовки подобный технический прогресс означал возвращение назад на 50-100 лет.

В те годы Весёлая Тарасовка представляла собой заброшенный угол: некогда беленькие хаты стояли ободранные, давно сожжены заборы, разрушались надворные постройки, не в каждом дворе ходили куры, даже собачьего лая не было слышно. С наступлением сумерек деревня погружалась в дремучее безмолвие.

Одни огороды благоухали, были ухоженными. От частого полива и культивации стояли зелёными и быстро росли, вознаграждая за труд хорошим урожаем. Для большинства крестьян это была единственная надежда, так как в колхозах по-прежнему нечего было выдавать за труд.

Правители поняли значение огородов для крестьян по-своему и, вероятно, чтобы заставить колхозников больше работать, в колхозе ввели ограничения. Начали облагать поросёнка, птицу, каждую штуку вишнёвого дерева непомерными налогами. В два раза уменьшили размеры приусадебных участков. Крестьяне вынуждены были рубить плодовые деревья и навсегда отказываться от деревни.

И всё же жизнь очень медленно улучшалась – голодающих уже не было, люди научились приспосабливаться к создаваемым условиям. Но поругание, грубость властей оставались. Ведь насилие, посеянное сверху, никогда не исчезает, только с уходом в могилу обиженных, забывается.

К третьему воскресенью пребывания Евдокии Химич на родине «Колхоз имени Тараса» закончил уборку зерновых. Гости и родители получили первый выходной день.

Последние дни Евдокия заметно волновалась: с момента отъезда её из Севастополя она не получила ни одного письма. Точно после трагической ссоры Николай решил отмалчиваться.

Что-то произошло, думала она. Только вспоминая напутствия мужа, она несколько успокаивалась. При её отъезде он говорил:

– Не торопись с возвращением. Помоги старикам. За меня не беспокойся – я привык ко всяким невзгодам, и одиночество достойно переживу.

Незадолго до заката в родительский дом пришёл старший брат Дуси Иван. Он поступил в железнодорожные мастерские семнадцатилетним, и уже считался кадровым рабочим. Работал в Родаково, там же и жил. В июле получил отпуск. Десять дней гостил в Москве. Навестил родителей, имея массу новостей.

В пяти шагах от входа в хату сохранились четыре роскошных вишни. Под их кроны каждое лето ставили обеденный стол. В тот год был редкий урожай вишен. Уже налившиеся соком, крупные чёрные ягоды наклонили ветви. Чтобы не сломать их, стол вытащили из-под ветвей и поставили у стены хаты.

Вся семья сидела вокруг стола, одновременно и обедала, и ужинала. Весь день без отдыха ушёл на обработку личного огорода.

По установившимся обычаям издревле в украинских семьях разговор за столом начинал старший. Главу семьи никто не перебивал и послушно исполнял его волю. Говорить было о чём – жизнь люди коротали особенную.

– Ну, что видел, что слышал? – спросил отец старшего сына, с любопытством ожидая рассказа продолжительного и интересного.

– В Москве люди живут как в другом государстве, – начал свой рассказ Иван. Все внимательно слушали, задумываясь. – Если и попадались на глаза оборванные и измождённые люди, так это были приезжие, провинциалы. А москвичи живут сытно, вольготно и в своё удовольствие.

– Говорят, идут массовые аресты, это правда? – спросил отец.

– Да, это правда, – ответил Иван и принялся перечислять десятки людей, которых он знал в Родаково и которых уже давно арестовали и запрятали в тюрьмы. В гнетущем молчании Иван продолжал. – Слышал, что и в Москве многих арестовали, преимущественно военных командиров. В вагоне ехал красноармеец. Он тихо, чтобы никто не слышал, рассказывал мне, что в их полку арестовывали всех командиров. Остался один политрук роты.

Дуся сидела и слушала недоверчиво, но по восторженному её лицу можно было улавливать волнение и тревогу. Иван продолжал:

– Был на физкультурном параде. После прохождения колонн физкультурников и показа ими упражнения, началась демонстрация. Я пристроился к какой-то колонне и чудом прошёл через Красную площадь. Шёл во втором ряду от Мавзолея Ленина, видел наших вождей. Сильнее всех блестела голова у Кагановича – такая здоровая, как алюминиевый котёл. Все выглядели на трибунах гладкими, выхоленными, не то что наши колхозники. Только Михаил Иванович и был похож на находившихся в колоннах.

– Чем прославился в революции Каганович? – с любопытством спросила мать.

– Ничем, – твёрдо ответил Иван. – Он в ней и не участвовал. Говорят – все наши руководители, потеряв чувство личного достоинства, угодничают и холуйствуют перед Сталиным. Сталин обожает подхалимаж: выдвигает на руководящие должности тех, кто перед ним выслуживается. Он им выдаёт кормления, а они ему создают угодное и надёжное окружение. Так выдвинулся Каганович и все ему подобные.

Иван говорил с убеждением. Он оперировал словами не своего ума, а передавал то, что слышал от людей близких к руководству.

– А Молотов, кажется, не такой как все, – заметила Евдокия.

Мать присоединилась к дочери.

– Молотов такой же, как и все сталинские соколы. Тем же угодничеством выдвинулся, пляшет под ту же дудку, подстраиваясь под Сталина, – утверждал Иван.

Когда он приравнял Молотова и Кагановича, отец тоже возразил. Он Молотова поставил рядом с Калининым, к тому же, считал его более образованным.

Мнения разошлись. Начали говорить все, перебивая друг друга, и замолчали, когда самый молодой колхозник, шестнадцатилетний Леонид вмешался в разговор. Он с опасением заметил:

– Не было бы войны. Без командиров враг может голыми руками захватить страну.

– Да, время тревожное, – согласился отец и решил поведать свои мысли. – Говорят, современные аресты – цветочки. Сталин ещё покажет себя.

– Так сколько же можно ещё убивать людей? – возмутилась мать. – Ведь уже миллионы убили!

В разговор снова вступил самый молодой колхозник. Его волновали вопросы обороны страны.

– Я думаю, из тех командиров, которых арестовывают и потом освобождают из тюрем, уже не может быть хороших и преданных вояк.

– Конечно, – присоединился старший брат Иван. – После незаслуженной обиды человеку трудно себя заставить идти в бой и защищать обидчиков.

С их мнением согласились все, кроме отца. Он долго молчал, задумываясь. Когда все наговорились, он смело возразил и принялся настойчиво переубеждать.

– Я участник империалистической войны. Ходил в атаку. Вы думаете, я слушал унтер-офицера и шёл в бой за Николая II? Нет! Я шёл и сражался за Родину... Плохо и обидно слушаться дурака – председателя артели, но ещё хуже и обиднее будет слушаться завоевателя. Завоеватель станет и паразитом, и палачом над нами. Честные люди будут защищать Родину и позабудут об обиде.

– Тише говори! Кто-нибудь подслушает – завтра же придут и заберут, – тревожно поглядывая по сторонам, предупреждала мать.

– Плевал я на всех агентов и доносчиков...

Но тотчас все почувствовали, как он понизил голос и стал говорить почти шёпотом.

– Кагановичи и Молотовы приходят и уходят, – продолжал отец, – причём теперешние вожди уйдут с позором, а Родина останется. Родина – это мы, наши земли, наши вишни. – Он сделал небольшую паузу, посмотрел вокруг, вероятно, чтобы узнать, нет ли непрошенных гостей. Убедившись в спокойствии вокруг, продолжил внушения, так необходимые молодёжи. – Все честные люди будут воевать, если враг нападёт на нас. Пойдём воевать и мы, правда? – обратился глава семьи к старшему сыну Ивану.

Перебивая всех, начал Леонид:

– Меня обещал председатель колхоза побить за то, что я не могу удержать половник и много подрезаю кукурузных корней. Я ему и говорю: возьми чапыги попробуй, когда земля пересохла и лемёха выворачивает огромные глыбы. Разве удержишь? Не буду. Я ему штык под зад подставляю.

– Глуп ты, Лёня, – сказал отец добродушно и глубоко вздохнул. Неожиданно он что-то почувствовал, привстав со стула. В медленно сгущавшихся сумерках он кого-то заметил. Он не ошибся. По тропе, идущей через сад и огород, кто-то показался. Отец предупреждающе спросил:

– Никак кто-то идёт?

Вскоре оказалось – к дому приближался председатель колхоза. За ним шла односельчанка – заведующая молочно-товарной фермой. Все дружно встали. Мать принялась убирать со стола.

Время текло независимо. Знойный день уступал приятной вечерней прохладе. Воздух застыл. Во дворе некому было нарушить безмятежную тишину. Только кобылки и сверчки начинали брачные переговоры. Да люди, готовясь ко сну, ещё суетились.

Поднимавшаяся из-за верхушек пирамидальных тополей золотисто-бледная чуточку ущерблённая луна предвещала тёплую и тихую украинскую ночь, какие в июле бывают ежегодно. Они радуют и предвещают благополучие хлеборобам, если жизнь их никем не омрачена, и вызывают в задумчивость, мучительную боль души у тех, кого силой заставили покинуть родные места и оказаться в изгнании на чужбине.

О! Как тяжело покидать Родину, когда был предан ей и жил для неё, забывая личное благополучие.

Чистка и избавление от неугодных коснулась и этого маленького села, лежавшего в стороне от добивавшихся роскоши и сверхсытости. Из тридцати одного человека трудоспособных мужчин, считая два человека подростков, двадцать семь были арестованы и увезены в город. По единодушному мнению колхозников, их арестовывали только за то, что они обо всём говорили так, как понимали происходящее вокруг. Не молчали, не прятались за спины других, поступали, как считали для общего дела лучше и полезнее.

– Добрый вечер! – нарушил тишину голос председателя артели. Все ответили, как принято в народе, как обязывала человеческая совесть – с признательностью и уважением, да и побаивались его.

– Мы к тебе, Евдокия, – обратился председатель. – Пришли агитировать дать согласие поработать дояркой.

Стулья отставили от стола и поставили у самых ветвей вишен. Пригласили сестр гостей. Фитиль у фонаря «летучая мышь» выкрутили больше, чтобы стало светлее.

Против гостей сел глава семьи. Дуся для себя поставила стул в стороне. После разговоров за обеденным столом она стала возбуждённой и настороженной. Мысли её больше были обращены к Севастополю, чем к предложению дать согласие работать на ферме.

– Дуся, чего же молчишь? – упрекнул отец дочь.

– А что я могу сказать, если завтра иду покупать билет?

Спустя минуту она набралась смелости и ответила коротко и ясно:

– Товарищ председатель, уезжаю.

– Вот видишь, – обратился председатель к заведующей молочной фермой. – Эта молодлица несознательная. Если и захочет что-либо сделать, то насчитает за свой труд в три раза больше.

Председателю казалось, что он знаток людей и вправе полагать, что люди, окружающие его, шкурники и несознательные. К ним он и причислил Евдокию Химич.

Председатель был среднего роста, упитан. Разговорная речь – русская с примесью украинских слов. Нечцензурная брань, которую он пускал десятки раз на день по адресу всех, нередко стариков и несовершеннолетних, была на чистом русском языке.

До рекомендации его райкомом партии стать председателем артели он понятия не имел о сельском хозяйстве. Поля и луга видел только из окна автомобиля. Метод работы у него был прост – заставить работать. Мало дня – кричал и заставлял работать ночью.

Он был до крайности вспыльчив. Спустя короткое время остывал, подходил к обиженному, извинялся, выглядел кротким, а по плаксивому выражению лица – беззащитным. В оправдание обычно говорил: «Ты меня извини, ведь надо же. Если бы не нужно было делать, я бы не заставлял». Объяснялся он долго и надоедливо, пока не выводил оскорблённого из себя.

Трагедия этого человека заключалась в его непонимании, что знания и умения человек обязан приобрести раньше, чем дать согласие и взяться организовывать на коллективный труд колхозников. Он ошибочно считал, что успех артельных дел зависит только от желания людей трудиться, а от него, как от организатора, нисколько.

Евдокия Химич, медленно осмыслив брошенные председателем упрёки, решила деликатно его поправить, поясняя:

– Я пошла работать на уборку ячменя без вашей просьбы. В меру своих сил и умений проработала двадцать дней. Я не преследовала цели зарабатывать у вас. Я решила помочь, как это делают добрые люди, и приходят на помощь в трудную минуту.

– А я думал, ты решила подзаработать, – прервал председатель.

– Если бы я решила зарабатывать, то не у вас. У вас люди не могут заработать.

– Почему? – не сдержался председатель.

– Вы не умеете организовывать колхозников на успешный труд.

Трудно было определить, краснел ли руководитель от только что сказанных слов, стекло закопилось в фонаре. Но по тому, как он ёрзал на стуле, можно было понять, что сказанное попало в цель, и против чего он возразить не мог.

– Мария Петровна, – тоном обиженного обратился председатель к заведующей фермой, рассчитывая на её поддержку. – Это где и когда я не умел организовывать колхозников на труд?

Сидевшая рядом начальница предусмотрительно промолчала.

– Сейчас вы пришли ко мне потому, что некому работать, правильно? – спрашивала, убеждаясь, гостя из Севастополя.

– Да, конечно, очень много людей убегает в город.

Евдокия продолжала:

– А вы знаете, людей у вас как раз и не мало. Из тридцати человек трудоспособных мужчин одиннадцать – баклуши быют. Да-да, не удивляйтесь, я сейчас докажу!

– Это кого же ты в бездельники записала? Никак меня?

– Пожарник целое лето прячется от солнца, чтобы не растопить жир.

Председатель не сдержался, сильно волнуясь, прервал Евдокию:

– Положено, дорогая. Циркуляром предусмотрено. Загорится хлебушко – я под суд не желаю идти.

– Хорошо, положено. Но он же может вести наблюдение за полем и одновременно что-то делать на том же поле?

Председатель с минуту помолчал, потом точно взорвался, сказав:

– Он должен всё время вести наблюдение за полем.

– В том-то и дело, что он должен. Точно вы не видели, как он с восхода до заката солнца отлеживался под возом в тени!

Председатель надолго замолчал.

– А Мария Петровна, которая сидит рядом с вами, тоже не желает и за холодную воду браться на ферме, боится остудить пальчики. Ведь может же она не десять, а четыре-пять коров выдоить? Может! Но она не хочет. Чем она занимается? Подгоняет тех, кто доит, а сама пишет бумажки, без которых можно обойтись.

– А у меня не получается, не умею, – поторопилась оправдаться заведующая фермой.

– Деревенская женщина не умеет выдоить корову? Не позорьте колхозниц! Впрочем, если действительно не можете и не хотите научиться, передайте своё место тому, кто умеет.

Все в задумчивости замолчали. Председатель тоже с одобрением выслушал последний монолог. Гостя продолжала:

– А в правлении? Подсчитайте, сколько молодых мужиков сидит без полезного дела: ваш заместитель, бухгалтер, счетовод, делопроизводитель, заведующий хозяйством, заведующий клубом – тем клубом, которого в колхозе от рождения не было. Три сторожа – не старики, а молодые люди – вы их вооружили во время уборки не вилами и граблями, а ручками и карандашами. Зачем? Чтобы всю тяжёлую работу взвалить на несчастных женщин? Ничего не скажешь – мудрое руководство! Как только не стыдно мужчинам! Семейственность, товарищ председатель, сами пьёте сообща. Друг друга защищаете, не щадя живота своего. Вы – актив, актив – вас. И хотите, чтобы колхоз преуспевал.

– А ты вот, давай, становись на моё место, узнаешь, как с этим народом работать!

– За что арестованы лучшие работники колхоза? – Евдокия назвала фамилии арестованных.

– Пусть не болтают, чего не следует, – недовольно выпалил председатель с озлоблением в голосе.

Несколько секунд спустя, осмысливая свою несдержанность, он, вероятно, готов был высечь себя за сказанное. Наклонил голову в окутанную темнотою землю двора, поросшего спорышом, и как с водою во рту молчал.

– Вот видите, снова вы виновны. Вы грешите совестью. Скажите прямо – пусть меня не критикуют. Не правда ли?

Председатель, наконец, понял, что был слишком прям, начал оправдываться:

– Честно говоря, я не знаю, за что арестовали, – оправдание было рассчитано на доверчивых. Он всем так отвечал, думал, что люди не поймут и не узнают.

Мать Дуси почувствовала, что разговор зашёл слишком далеко. Опасаясь крамолы, начала приглашать к постели. Иван незаметно для присутствующих тихонько ушёл на Родаково. Гости тоже встали, не говоря ни слова, торопливо направились в сторону правления колхоза.

ГАЛИНА ВЕСЕНИНА

Бывшая студентка МГУ, подруга Петрова и Химича, уже мать четырёхлетнего Олега, была уволена с Лимнологической станции в Листвянке. Отстранение от любимого дела, лишение средств для жизни точно инфаркт ударили женщину со слабым здоровьем. Галя теряла всё, за что потеряла юность и здоровье.

После долгих поисков работы Весенина с трудом устроилась на Иркутский комбинат пищевых концентратов микробиологом.

Муж её, Олег Весенин был арестован на пятый день после расстрела маршала Советского Союза Тухачевского.

О судьбе мужа Галя ничего не знала: куда она не обращалась, вразумительного ответа никто ей не давал.

В разговоре с директором Лимнологической станции она поняла, что он причастен к аресту её мужа. Он выражал откровенную удовлетворённость арестом и кандидата наук Весенина и ещё одного ведущего научного сотрудника станции, выступавшего с критикой директора станции.

Малограмотный директор освободился от неугодных и добился «единства» коллектива. После сотрудники слушались его безропотно, всё делали, как говорил и требовал он, к сожалению, не на пользу делу, а во вред ему.

Весениной новая работа не нравилась, но трудиться она была приучена с детства. Быстро осваивалась на новом месте, привыкая, заставляла себя со всем мириться.

В один из воскресных дней она решила пересмотреть переписку с друзьями. Среди писем нашла и письмо от Катюши. Бывшая подруга писала о себе редко. Ложная и тупая зависть не позволили Катюше сохранить прежнюю дружбу, как вечность длинную и как настоящее счастье дорогую. Галя долго думала, и после долгих колебаний решила написать. Письмо её было коротким: «Дорогая Катюша! Я читаю твоё последнее письмо. Радуюсь, вспоминая приятные дни нашей дружбы. О! Как они были хороши, приятны и радостны. А сейчас я не перестаю удивляться – ты всё ещё мне завидуешь? Завидуешь моему мужу, которого ты дважды видела и, вероятно, которого ты больше не увидишь. Что ты скажешь теперь? Я осталась одна с Олежкой. С работы уволили. За угол плачу тридцать рублей в месяц». Вместо подписи написала: «Твоя подруга».

В понедельник в обеденный перерыв Весенину вызвали в отдел кадров. Там уже сидел начальник спецчасти комбината, он и обратился к Весениной с вопросом:

– Вы жена арестованного за вредительство Весенина?

– Да, мой муж арестован, за что – не знаю.

– Вам нельзя работать на занимаемой должности, – безапелляционно утверждал начспецчасти.

– Почему? – запутавшись в мыслях, спросила Галина Петровна, но быстро поймав себя на ненужном вопросе, стала сожалеть, понимая, что в той обстановке добиваться действительности... Куда легче надеть петлю на шею, а затянуть её любой энкеведовец согласится. И она, понизив голос, торопливо переспросила:

– Пожалуйста, где можно?

Были предложены две должности. Галя согласилась стать сестрой-хозяйкой.

В заключение диалога начальник спецчасти предложил к утру следующего дня представить автобиографию в двух экземплярах.

Весенина выполнила указание. Утром она сдала автобиографию, а в полдень её снова вызвали уже в спецчасть, где сказали:

– Мы разобрались в вашем деле. Вам не следовало поступать на работу в наш комбинат. Вам лучше поступить и работать на стройке, можно на деревоотделочный комбинат. Если не желаете увольняться, вас переведут на работу отправки белья в прачечную, между рейсами будете убирать канцелярию.

– Я согласна. Не умирать же мне в 28 лет. У меня ребёнок, – овладев собой, спросила. – За что я преследуюсь? На своей работе я потеряла здоровье. Вы поступаете бесчеловечно.

– Я тоже не хочу, чтобы меня обвинили в ротозействе, а чего хорошего – и в покровительстве вашего брата, – недовольно разъяснял начспецчасти, предупреждая. – О причине перехода на другую работу с посторонними не распространяться, – угрожая, требовал блюститель законности, и не поднимая глаз на обиженного и оскорблённого человека, произнёс. – Свободны!

Детство Гали было безрадостным и трудным. Девятилетней девочкой она потеряла родителей. Двенадцатилетней – заболела туберкулёзом. Растущий организм переборол недуг. Но два года назад, изучая жизнь глубоководной фауны Байкала, понадобилась проба воды с планктоном с больших глубин и мест, удалённых от берегов. Галя с помощниками отправилась на мотоботе в открытое озеро. На обратном пути возник шторм. Мотобот перекинулся. Весенину и товарищей с ней только через два часа подобрали спасатели.

Была поздняя осень, температура воды в Байкале колебалась около нуля градусов. Все заболели гриппом, а Галя – вторично туберкулёзом. Два курорта, десятки литров рыбьего и барсучьего жира заизвестковали начавшийся распад лёгочной ткани. До ареста мужа она чувствовала себя неплохо, но теперь... арест мужа, лишение любимого дела, недоедание снова сказались на здоровье. Она снова стала кашлять, по ночам потеть, десятки раз просыпаться. Уже второй месяц температура держалась 37,2 °С.

Катюша, получив от Галины письмо, поняла: подруга попала в беду. Догадываясь, что причиной были не семейные ссоры, а поголовные аресты, ведь коллектив, где она работала, тоже не избежал потерь своих сотрудников, решила не медлить, и в тот же день ответила на письмо телеграммой: «Дорогая, любимая, догадываюсь. Брось всё. Возьми Олега. Приезжай немедленно. Екатерина».

Галя была бескрайне рада: хоть один человек нашёлся, и в тяжёлую минуту подал руку сочувствия. В тот же день Галя тоже ответила телеграммой: «Любимая Катюша. Благодарю любезную щедрость. Несколько дней буду работать. Заработаю проезд. Тотчас приеду. Галина».

Получив телеграмму от Галины, Катюша рассердилась – почему подруга, с которой она делила всё, не призналась, что не имеет денег. Она долго размышляла, и в тот же день телеграфировала триста рублей.

ЕКАТЕРИНА БЕРЁЗКИНА

Екатерина Исидоровна Берёзкина работала на Океанографической станции в заливе Петра Первого, на той же должности, на которую её послал Московский государственный университет. В 1936 году станция расширилась и преобразовалась в Научно-исследовательский институт.

В том году научный сотрудник Берёзкина занималась изучением миграции промысловых лососевых рыб в акватории прибрежных вод залива Петра Великого. Её муж Владимир Берёзкин проработал в том же учреждении один год. Его призвали на Тихоокеанский флот для прохождения службы, где он проявил незаурядные способности в морском деле и был послан на годичные курсы. После их успешного окончания он получил специальность минёра-артиллериста и звание лейтенанта. К тому времени он уже два года плавал на военных кораблях и получил первое повышение по службе. Стал старшим помощником командира минного заградителя.

Берёзкины жили в доме военнослужащих в двухкомнатной квартире и растили четырёх-летнюю дочь Светлану. Семья жила в согласии, материальном достатке и в своё удовольствие.

Галина Весенина взяла расчёт, и на комбинате сказала:

– Поеду на Украину к матери, – однако, вспомнив, что совсем недавно она писала, что родителей потеряла в детстве и их не помнит, прикусила язык и решила больше ни с кем не распространяться о себе.

– Уезжаю на запад, – говорила она хозяйке. Чтобы придать правдоподобность своим утверждениям, она ушла к поезду «Владивосток – Москва». Посадку же совершила на поезд «Москва – Владивосток», спустя четыре часа после прихода на станцию.

Катя встретила подругу с радостью. Мужу о приезде подруги не говорила – решила поставить его перед случившимся фактом.

Владимир Берёзкин учился с Галей на одном курсе пять лет. Он пытался ухаживать за Галей, симпатизировал ей больше, чем Кате, ставшей женой. Но причиной, что они не поженились, была Галя. Владимир часто вспоминал, как Галина однажды ответила:

– Володя, я жду рыцаря. Как же ты? К сожалению, могу только пожелать счастья, остальное – без меня.

В первый же день дети подруг подружились. Детская поликлиника была рядом. На второй день были сданы анализы. На третий – получено решение посещать Олегу садик. На четвёртый – Светлана взяла Олега за руку и повела в свою группу, где девочке всё нравилось, куда она каждое утро бежала с радостью.

Всё было рядом, кругом была удача. А уважение и заботы о ней Галю пугали: ведь она уже привыкла к окрику.

Подруги договорились никому о горе не говорить, решили отмалчиваться.

– Володя тоже не будет знать, – заверяла подруга Екатерину. – Ну, а если и узнает, то ничего страшного. Он добрый, и поймёт тебя правильно.

– В этих семи домах живут только командиры, – хозяйка показала на пятиэтажные многоквартирные дома. – Добрая половина их арестована.

– А Володьку не могут арестовать? – тревожным голосом спросила гостя.

– Думаю, нет. Офицером он служит два года. Вероятно, не успел ещё на себя наговорить всякой напраслины. В университете, как помнишь, мы болтали много и лихо, всех вождей чертовали, но за нами не было такой слежки, как за командирами.

В один из рабочих дней лейтенант Берёзкин взял увольнение. Всей семьёй поехали устраивать Галину Петровну в институт.

Время было не приёмное, но директор их принял. Все трое оказались в большом красивом кабинете. Директор сидел за своим столом и знакомился с документами Галины Петровны.

– Товарищ Весенина, – обратился директор.

Галя встала. Лицо её на глазах бледнело и становилось мертвецки безжизненным. Директор заметил сильное волнение молодой женщины. Вышел из-за стола, налил полстакана воды, подавая Весениной, сказал:

– Благодарите мою мать, что она родила меня храбрым, – сказал он и сделал продолжительную паузу, естественно, задумываясь об ответственности. Затем посмотрел каждому из гостей в глаза, и смело сказал. – Что ж, я вас возьму. Но и тут, и в повседневной жизни будьте предельно осторожны.

Все молчали. Берёзкин, слушая директора, долго не понимал его, но вскоре стал догадываться, что могло произойти с Галей, о чём женщины сохранили от него правду. Директор института пояснял:

– Я вас принимаю на работу, рискуя своим благополучием. Я это делаю сознательно, потому что знаю и понимаю, как тяжело вам. Только тот, кому приходилось находиться в вашем положении, знает, что значит, когда не доверяют, когда тебя боятся, – говорил он медленно, но спокойно и великодушно.

Гости молчали. Директор, раз за разом перекладывая с места на место документы Галины Петровны, продолжал, обращая добродушный взгляд на Весенину:

– Я знал вашего мужа. Человеком он был знающим и жаждавшим знать больше. Знаю вашего директора Лимнологической станции – карьериста, тупицу и перестраховщика. И поэтому не удивляюсь, что вас уволили. А на новом месте заставили работать уборщицей. Буду надеяться, что в нашем институте вы проявите себя так же, как и на прежней работе. Работайте честно и назад не оглядывайтесь.

Галя, превозмогая оцепенения, не сдержала слёз. Несвязанными словами стала благодарить великодушного человека. Была готова стать на колени и кланяться в ноги. Медленно обретая силы, виновато спросила:

– Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что с ним, с мужем?

– Конечно, не знаю. Одно знаю, что он не виновен. Поверьте в мои убеждения.

Он был действительно уверен и от того говорил так, как говорят все честные и добросовестные люди, отвечающие и за свои поступки, и за свои слова.

– Что может быть с ним сейчас? Думаю, знают немногие. Ну а мы вряд ли будем иметь возможность что-либо и когда-либо узнать. Такова наша жизнь. – Он энергично встал и сделал несколько шагов к окну, посмотрел куда-то вдаль и быстро возвратился на своё место, сделал запись на заявлении, собрал все бумаги и подал их Галине Петровне. – Идите в отдел кадров. А вы, молодой человек, задержитесь.

Лейтенант Берёзкин вытянулся перед столом директора института.

– Здесь только что произошёл разговор – вы его помните. Он был вызван сложившейся обстановкой и условиями необычными. Забудем этот разговор, хорошо?

– Товарищ директор, я всё понимаю. За добродетель, которую вы совершили, будем всю жизнь вам благодарны, – ответил лейтенант.

– Это хорошо. Делаю всё, что могу. Вы, кажется, работали у нас?

– Так точно! В вашу бытность почти год.

– Не обижайте уже обиженного негодяями человека.

– Ну что вы! Конечно же, согреем.

– Великодушие – благородно. Ужасна жестокость, – подчёркивал директор, не отводя испытующих глаз от командира.

– Если нужна будет ей жилплощадь, пусть приходит. – Он встал, слегка наклонился вперёд, тихо добавил. – Благодарю вас, что вы так хорошо понимаете меня, как понимаю я вас.

Лейтенант поблагодарил директора, с достоинством повернулся кругом, вышел.

Благородству директора не следует завидовать. Стать ему таким помогло не только великодушные среды, воспитавшей его, но и жизнь преподавала урок. После убийства Кирова, он попал в лапы ГПУ, и чудом невиновный человек выпутался из таких же страшных тенет, какими спутывались тысячи органами НКВД.

Спустя восемнадцать месяцев Галину Весенину найдёт во Владивостоке извещение из лагеря «Покрышкин» Магаданской области, где будет коротко указано: «Весенин Олег Васильевич рождения 1905 года был осуждён по статье 58 п. 7 «За вредительство» Уголовного кодекса РСФСР к пятнадцати годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывая наказание в лагере «Покрышкин», 2 ноября 1938 года умер. Диагноз: нетипичная пневмония».

ЖИЗНЬ ТЮРЕМЩИКОВ

Наступил август 1937 года. В камере № 17 появились шесть человек новеньких. Выпустили на волю бывшего политрука тылов Полищука. Переведены в общие камеры осуждённые Шевцов, Крижжановский, Пидопрыгора и Недюжий. Недюжему дали три года высылки в отдалённые районы страны с правом работать на спецобъектах. Он оказался таким же несчастным человеком, как и осуждённые на длительные сроки заключения.

В те времена высылка по постановлению тройки по существу заменяла пожизненное тюремное заключение. По окончании трёх лет комиссия, как правило, продлевала срок ещё на столько же, затем ещё, и так три года превращались в бесконечность, пока человек не умирал.

В те жестокие времена в тюрьмах был установлен строжайший режим. От заключённых тщательно скрывались тюремные и гражданские новости. Даже крохотные кусочки газет отбирались и уничтожались, только бы подследственные не читали и не знали, что делается в стране. Отбирались кусочки карандашей и писчей бумаги, чтобы никто никуда не писал. И всё же заключённые много знали, особенно хорошо была поставлена информация о тюремной жизни.

Как узнавали тайны? Дело в том, что ни основная, ни дополнительная тюрьмы, ни казематы органов НКВД при управлении не были рассчитаны на такую массу арестованных. Заключённые всюду и постоянно сталкивались. Бывало достаточно нескольких секунд, чтобы сказать нужное товарищу, хотя за это и слышалось: «Молчать!». А нередко и пинка в спину получать. К тому же, большинство тюремных служащих понимали, что арестованные не виновны. Проводилась кампания, какие в нашей стране были не редкостью. При отсутствии свидетелей надзиратели охотно помогали заключённым.

Химич вспоминает, как однажды у старшего надзирателя было свыше десятка кусков карандашей и кусочки писчей бумаги. И он их тайком раздавал. Вероятно, ему было страшно. К счастью, не всем присуща врождённая трусость. Подследственные знали, кого расстреляли вчера, и кто ждёт своей участи сегодня, и по какой статье лишается жизни.

Два дня назад во второй половине ночи были расстреляны отец и сын Бицы. До 1931 года они проживали в татарском кишлаке Булганак-Кронентал. В том же году осенью они были раскулачены. В чём были одеты, всем семейством ушли в Симферополь и поступили работать. В тот же день их хозяйство сгорело. Они ли его подожгли или поджёт кто-то другой – обвинили их. Почти год длилось следствие. Вина их не была доказана, и в конце 1932 года они были освобождены. В 1937 году их снова арестовали и обвинили в той же диверсии по тому же ранее прекращённому делу. В 1937 году доказательства уже не требовались, по показанию свидетелей их признали виновными, и суд приговорил к высшей мере социальной защиты и расстрелу.

Химич со всем смирился и ко всему тюремному привык. Единственное, что на его психику действовало болезненно и угнетающе – душераздирающие крики по ночам. Крики протестующих женщин на нижнем этаже южного крыла тюрьмы и тех, кого выволакивали из камеры смертников и вовремя не успевали забить кляп, несли, бросали в «Чёрный Ворон» и увозили в последний путь.

Однажды ранним утром по тюрьме разнеслась любопытная весть: из какого-то южного города Украины был доставлен в севастопольскую тюрьму матёрый преступник, по кличке «Удав».

За тридцать два года жизни и неоднократные заключения, он стал грозой в среде воров и преступников уголовного мира.

Первый раз он попал в тюрьму шестнадцатилетним за убийство своего товарища. После этого в соучастии с подобными себе он ещё убил двух человек уже при ограблении. За шестнадцать лет преступной деятельности – пять раз судим. В общей сложности получил 23 года строгача, но только семь лет отсидел, остальные годы ему прощали. Одни говорили, что умел показать себя перевоспитавшимся, другие, – что страх перед силою и ловкостью этого преступника внушали опасение тюремщикам, и они старались любыми путями избавиться от него.

«Удав» был вспыльчивого и необузданного нрава. В его психике негодование клочкотало, как внутриземные тектонические силы, постоянно готовые прорваться на дневную поверхность. У воспитанного человека в секунды потрясений наступает стресс и нередко параличи, у «Удава», необузданного и привыкшего к жестокостям над другими, проявляется звериная сила, характерная для наших далёких предков, питекантропов и неандертальцев. Он мог снести голову любому, причём, по малейшему пустяку, оказавшись неудовлетворённым.

Последнее убийство «Удав», как соучастник, а возможно и как организатор, совершил при ограблении сберегательной кассы. В камере той тюрьмы, откуда его привезли, он совершил новое, камерное, убийство.

Прокурор, разбираясь в содеянном, пришёл к выводу, что заключённые той тюрьмы, где «Удав» совершил убийство, могут убить его. Щадя жизнь «Удава», он принял решение перевести его в севастопольскую тюрьму.

По всем законам этого матёрого преступника следовало держать в одиночке. Начались конфликты. Его вызвал начальник тюрьмы. «Удав» заявил: «Я не привык к обращению, которым меня встретили здесь. Я могу стать вам полезным, если вы будете закрывать меня в камере только на ночь». И начальник тюрьмы согласился с доводами, пошёл навстречу преступнику.

В первый день «Удав» выполнил своё обещание блестяще. Когда нужно было выволакивать на расстрел Бицев, он сказал:

– Имею опыт и всё сделаю сам.

Надзиратель открыл камеру смертников, «Удав» вошёл в неё как заключённый, спокойно вступил с Бицем-сыном в разговор. Затем молниеносно набросился на него, скрутил руки и забил тряпкой рот. Сам же вынес одного, а затем с другой камеры и Бица-отца и вбросил их в «Чёрный Ворон».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.